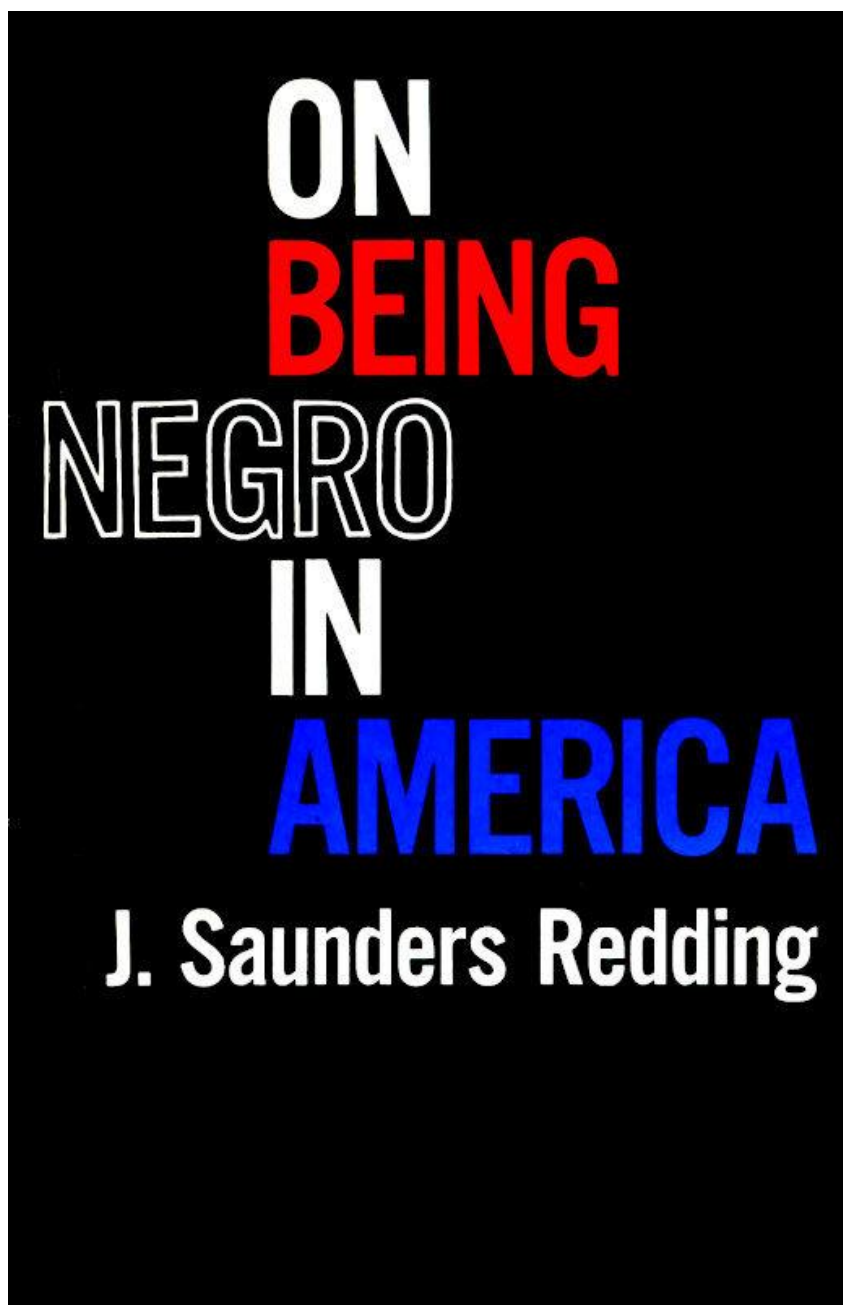


Каково это быть негром в Америке

Дж. Сондерс Реддинг



The Project Gutenberg eBook of On Being Negro in America.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или использовать повторно в соответствии с условиями Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или в режиме онлайн на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Каково это быть негром в Америке

Автор: Дж. Сондерс Реддинг

Дата выхода: 12 апреля 2020 [eBook #61818]

Последнее обновление: 17 октября 2024 г.

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Ричардом Тонсингом, Тимом Линделлом и командой Online Команда распределенной корректуры на сайте <https://www.pgdp.net> (Эта книга была подготовлена на основе изображений, предоставленных Hathitrust Digital Library.)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK ON BEING NEGRO IN AMERICA ***

Примечание транскриптора:

Изображение обложки было создано транскриптором и является общественным достоянием.

"Какой самосознательный народ ваши негры!" - воскликнул недавний французский посетитель. Он был прав. Негр постоянно живет в двух плоскостях сознания. Наблюдая за трансляцией боксерского поединка между негром Эззардом Чарльзом, который стал чемпионом в тяжелом весе, и белым претендентом, мой друг сказал: "Мне не нравится Чарльз как человек, но я должен болеть за то, чтобы он победил этого белого парня - и хорошо".

Сердце замирает от осознания первобытной энергии, которая не растрачивается и не перерабатывается в самом деле, когда речь идет о жизни негра в Соединенных Штатах - в любом из Соединенных Штатов.

J. Сондерс Реддинг также писал:

- СДЕЛАТЬ ПОЭТА ЧЕРНЫМ
- НЕТ ДНЯ ТРИУМФА
- ЧУЖОЙ И ОДИНОКИЙ
- ОНИ ПРИШЛИ В ЦЕПЯХ
- ЧТЕНИЕ ДЛЯ ПИСЬМА (текст для колледжа с Айвеном Э. Тейлором)
- АМЕРИКАНЕЦ В ИНДИИ
- ОДИНОКАЯ ДОРОГА

Charter Books - это новое начинание в издательском деле. Они предлагают по цене мягкой обложки набор современных шедевров, напечатанных на высококачественной бумаге и сшитых переплетах в твердом переплете и формате.

О ТОМ, КАК БЫТЬ НЕГРОМ В АМЕРИКЕ

J. Сондерс Реддинг

Charter Books

Copyright 1951 J. Saunders Redding

Все права защищены

Издание в твердом переплете Bobbs-Merrill, опубликованное в сентябре 1951 года

Чартерное издание опубликовано в августе 1962 года

Эта книга представляет собой полный текст издания в твердом переплете.

Отпечатано в США.

КНИГИ ЧАРТЕРА

Опубликовано



КОМПАНИЯ БОББС-МЕРРИЛЛ, ИНК.

Дочерняя компания HOWARD W. SAMS & CO., INC.

Издательства в Индианаполисе и Нью-Йорке

Распространяется компанией Macfadden-Bartell Corp., Inc,

205 East 42nd Street, New York 17, New York

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА

Когда было решено переиздать знаменитую книгу Дж. Сондерса Реддинга в мягкой обложке, мы написали мистеру Реддингу в Хэмптонский институт, где он преподает английский язык, чтобы узнать, не хочет ли он обновить книгу или, возможно, написать новое введение. В свое время нам пришел ответ из Нигерии, где мистер Реддинг в настоящее время читает лекции и путешествует, в котором говорилось, что мы можем внести в текст любые изменения, которые сочтем важными. Мы внимательно просмотрели книгу. Действительно, кое-что изменилось: мистер Реддинг немного постарел, его сыновья выросли в молодых людей, его отец умер в прошлом году, в возрасте девятиста двух лет, - но, за исключением этих моментов, мы пришли к выводу, что, к сожалению, в обновлении нет необходимости.

Нью-Йорк

12 мая 1962 года

"Кстати, я когда-нибудь говорил тебе..."

"Достаточно правды?" - спросила она.

"Правды никогда не бывает достаточно", - сказал полковник. "Есть только больше и больше."

-Из примечаний к

"Полковник и его леди".

1

Это личное. Я бы назвал это "документом", если бы не то, что это слово имеет оттенок чего-то официального, облеченного властью и окончательного. Но я не облечен полномочиями говорить за других, и то, что я хочу сказать, может быть окончательным только для меня самого. Я спешу сказать об этом в самом начале, поскольку помню свой гнев по поводу наглости того, кто несколько лет назад взялся говорить за меня и двенадцать миллионов других людей. Я не соглашался практически ни с чем из того, что он говорил. Само по себе это было неважно, но когда кто-то берется говорить от моего имени, он должен настолько точно отражать мои мысли, чтобы я не нашел ни одного источника разногласий с ним. Для этого он должен быть либо безмозглым попугаем, либо богом. Хотя безмозглых много, исторические и нынешние обстоятельства доказывают, что богов, занимающихся расовой проблемой, нет, иначе, как бы опасна для американского идеала и как бы изнурительна для отдельных американцев ни была эта проблема на протяжении трехсот лет, она давно была бы решена. В противном случае боги были бы в высшей степени порочны.

У покладистых богов были возможности. Каждый кризис приносил новые возможности. В революционные времена, еще до того, как мы стали нацией и укрепились социальная структура и образ мышления, сопутствующие нации, открывались великолепные возможности. Но боги не пришли. И снова, в ужасную паузу после Гражданской войны, когда социальная структура половины страны распалась, а люди молились только о том, чтобы им сказали, что думать и делать, ни один бог не ответил. Вместо него на сцену вышли готовые к

работе дьяволы позитивного разума и правили долгое время. Первая и Вторая мировые войны тоже несли в себе потенциал, но мы, простые люди, и лидеры, на которых мы равнялись, довольствовались строгими обвинениями и слабыми мерами. В воздухе витал адский запах зловещих пророчеств:

"Небольшая группа негритянских агитаторов и другая небольшая группа белых бесчинников подталкивают эту страну все ближе и ближе к межрасовому взрыву, по сравнению с которым расовые бунты Первой мировой войны и ее последствий покажутся мягкими". Если не возобладают более здравые советы, мы можем получить худшие внутренние столкновения со времен Реконструкции, с сотнями, если не тысячами, убитых, а дружественные расовые отношения будут отброшены на десятилетия назад."^[1]

С такими ужасными предчувствиями, кричащими нам в уши, мы вернулись к своеобразному (и американскому) неправильному толкованию гегелевской философии - что время, поток истории, *неизбежно* несет изменения к лучшему.

2

Я говорю только за себя и по другой причине. С подросткового возраста и до самой смерти в том, чтобы быть негром в Америке, есть что-то очень личное. Это как наличие второго "я", которое является таким же сознательным субъектом всего опыта, как и естественное "я". Это не то, что психологи называют раздвоением личности. Это более сложный и, как мне кажется, более болезненный процесс. В состоянии, о котором я говорю, человек получает два разных воздействия от определенного опыта и испытывает две разные реакции - одну нормальную и присущую естественному "я"; другую, совершенно иную, но равную по силе, - продиктованную накопленным сознанием негроидности.

Это иллюстрирует один случай.

В колледже в Луисвилле, где я преподавал во время депрессии, к западному краю кампуса подползли белые трущобы. Я мог видеть ее грязь, нищету и болезни в любом направлении, куда бы я ни посмотрел из окна своей аудитории. В замусоренных задних дворах, в каждом из которых был выгребной туалет, играли сопливые дети, больные рахитом, а длинноволосые женщины целыми днями выкрикивали в их адрес непристойности. Я помню, что видел мужчину всего один раз - древний, дряхлый человек, согнутый с чудовищной грыжей. К тому времени, когда осень перешла в зиму, жалость, которую я испытывал к жителям трущоб, была надежно уложена среди других бесполезных эмоциональных отходов.

Однажды, стоя у окна и думая о других вещах, я постепенно осознал движение во дворе прямо под собой. В здании колледжа было тихо, как в церкви, поскольку в субботу занятий не было. Не было бы ничего удивительного в том, чтобы увидеть соседскую женщину, одетую лишь в потрепанный слип, но накануне вечером выпал снег, и день выдался холодным. Когда я увидел женщину, на вид совсем молодую, она, пошатываясь, шла в заднюю часть двора. Должно быть, за ней из дома вышла собака, потому что одна из них стояла у открытой двери и с сомнением помахивала хвостом. Лицо женщины было неподвижным и безучастным, а при попытке идти ее тело и конечности конвульсивно подергивались в прогрессирующей дрожи. Я не мог понять, пьяна она или больна, пока она барахталась в снегу во дворе. Во мне

поднялась жалость, но в то же время и нечто другое - злорадное удовлетворение от того, что она была белой. Острые и одновременные, эти две эмоции были равной силы, в идеальном равновесии, и телесный я, застывший в трансе у окна, колебался между ними.

Когда до флигеля оставалось несколько шагов, бедная женщина резко дернулась и упала лицом в снег. Не в силах пошевелиться, я несколько минут наблюдал за ее конвульсивными движениями. Собака тем временем спустилась во двор, жалобно скуля, и ходила на негнущихся ногах вокруг белого и почти голого тела. Женщина устроила на снегу беспорядок, а потом лежала неподвижно.

Наконец я нерешительно повернулся и вышел в коридор. Там была входная дверь, а рядом с ней телефон. Я мог бы выйти на улицу и через несколько шагов оказаться дворе, где лежала женщина, и попытаться разбудить кого-нибудь или самому отнести ее в дом. Я подошел к телефону и позвонил в полицию.

"На заднем дворе дома на Восьмой улице, квартал семьсот, лежит пьяная женщина", - сказал я.

"Вы говорите, пьяная? В собственном дворе? Тогда оставьте ее лежать".

"Но там, кажется, никого нет, и она может быть не пьяна".

"Вы сказали, что она пьяна", - сказал голос. "И что теперь?" Наступила пауза. "И кто вы вообще такой?"

"Она может замерзнуть до смерти", - сказал я и повесил трубку. Таким образом, я умыл руки.

Женщина все еще лежала там, а собака дрожала и скулила рядом с ней, когда почти через час приехал одинокий полицейский. На следующее утро я прочитал на последней странице местной газеты, что женщина, двадцати шести лет, умерла от облучения в результате эпилептического припадка, случившегося в одиночестве.

Можно вымыть руки, но пятна и шрамы на психике останутся другими.

Я не оправдываюсь за свою причастность к этому ужасному эпизоду. Оправдания бесполезны. Переживания моей негритянскости в условиях страха и деградации, когда такие переживания имеют максимальное значение, нивелировали человечность. Сколько раз я слышал, как негры, будучи свидетелями какого-то несчастья, постигшего белого человека, бормотали: "Что за черт! Он же белый, не так ли?". Каков точный психологический механизм этого, я сказать не могу, но, безусловно, разочарование в человеческом сочувствии и доброте - симптом опасной травмы. Никогда не будучи белым, я не знаю, испытывают ли белые южане подобную реакцию на негров, но, учитывая их поступки и слова, вряд ли можно судить об обратном. Действия говорят сами за себя, а печатные слова - не всегда.

Ибо в книгах белых южан, посвященных "расовому вопросу" (как надоела эта фраза!), есть одна особенность: в них нет отстраненности. Может показаться, что они имеют. В рамках, которые всегда казались мне сомнительными, могут быть блестящие изложения, анализ, интерпретация и даже история. Они могут реветь, как, например, труды Дэвида Л. Кон; они могут мурлыкать лирически и благодушно в манере Арчибальда Ратледжа и покойного Уильяма Александра Перси; они могут обличать и извиняться с ненавязчивой эрудицией, как это делают редакционные статьи Вирджиниуса Дабни и Ходдинга Картера; или они могут щетиниться с жесткой фразеологией учености Говарда Одума - но почти все они

разрабатывают аргументы, которые, конечно, не являются результатом самопознания и которые не могут быть эффективными в качестве инструмента самоконтроля.

Рассуждения в них очень тонкие, чтобы не сказать метафизические, и выглядят они следующим образом: История - это императивная творческая сила (опять из Гегеля!), а человек - ее вассал. Она неподвластна сознанию, а также руководству и пророчеству. Она породила рабство, миграцию на юго-запад, Гражданскую войну, ку-клуксизм. История не подчиняется воле человека; она заставляет его соответствовать, и под этим принуждением человек, его общество и его институты формируются в то, чем они являются, и в то, чем они становятся, под воздействием категорических указаний, столь же мощных, как слово Божье. История выше морального осуждения, а ошибки истории не подлежат исправлению. Мир человека механистичен.

Это не просто ошибка; это симптом травмы, тем более опасной, что именно в эту концепцию истории верит большинство белых южан, когда они здраво рассуждают о расовом вопросе; когда они пишут об этом книги или тихо беседуют в своих гостиных; или когда они собираются вместе и "с радостью соглашаются сотрудничать... в любой *разумной* программе, направленной на улучшение расовых отношений". Эти рассуждения, одновременно оборонительные и вызывающие, выражаются в клише, которые являются затвердевшими артериями, по которым течет мысль. "Белый Юг *неумолимо* обусловлен культурными комплексами". "Как в физическом, так и в культурном наследии Юга есть определенные кумулятивные и трагические недостатки, которые представляют собой *непреодолимые* факторы в данной ситуации". На Юге существуют "правовые и обычные модели расовых отношений, *силу и возраст* которых мы признаем".^[2] Идеализм этих людей доброй воли опровергается смыслом их собственных фраз.

Модель разума, которую выражают эти фразы, была самым влиятельным фактором в расовых отношениях на протяжении почти ста лет. И если Ходдинг Картер, один из молодых южных либералов, является представительным ("Дух [символом которого являются эти истории] достаточно безобиден; возможно, немного жалок, наивен и провинциален. Не говоря уже о том, что когда-нибудь он, конечно, исчерпает себя. Не завтра, не в следующем году и не через год. Но когда-нибудь."^[3]), она обещает оставаться таковой еще целое столетие.

И эта непростая перспектива подводит меня к еще одной причине личного уклона этого эссе. Я не хочу жить с расовой проблемой в течение следующих ста лет - хотя, конечно, я не проживу так долго. Я не хочу умирать, зная, что мои дети и их дети до третьего поколения должны жить с этой проблемой. Я и так знаю ее слишком долго и слишком близко. Оно само по себе было императивом, направляющим больше моих сил, чем я хотел бы выделить, через узкое ущелье расовых интересов. И все же я ни в коем случае не чувствовал себя крестоносцем. Я не был воодушевлен компенсаторным афлатусом вдохновенного лидера. Позвольте мне быть предельно откровенным. Я делал то, что делал, не потому, что хотел, а потому, что, движимый демонической силой, я должен был это делать. Необходимость всегда была для меня изнурительным недугом и корнем моего личного недовольства американской жизнью. Это нетрудно понять.

Со всем этим, разумеется, было связано чувство безличного долга, которое, как мне нравится думать, вырастает из достойной заботы об общем благосостоянии. Это гражданское чувство не нашло широкого выражения в групповых и расовых мероприятиях и организациях, потому что я не такой человек. Если это недостаток, то я сожалею о нем. Я старался быть таким человеком. В то или иное время я был членом большинства групп расового подъема и до сих пор являюсь членом некоторых из них, и когда мне было около

двадцати лет, я думал, что принял огонь от массы и что, если понадобится, я смогу увещевать, проповедовать и выступать с публичными протестами наравне с лучшими из них. Но тогда я еще не знал себя так хорошо. То, что я чувствовал, было всего лишь буйной, юношеской потребностью в самоидентификации. Мне грустно вспоминать, как в те дни один мой друг дразнил меня "Маркусом Гарви" - именем, которое было апофеозом вопиющего расового шовинизма. Но у меня не было реальной возможности быть крикливым - привычка, полагаю, как и любая другая, - и не было естественной склонности. Я также не мог по-настоящему потерять себя в массе.

3

Но годы моего двадцатилетия были зажигательными и бурными. Мир был в самом разгаре той серии социальных революций, которая началась, как нам говорят, с Первой мировой войны и еще не закончилась, а американский негритянский народ был своего рода катализатором революции в своей собственной стране. Конечно, это была их историческая роль, но она была приостановлена, пока негры играли второстепенную роль в европейском конфликте. Американцы в целом, казалось, не понимали, что произошло в Европе. Они не воспринимали это как перемены. Это было всего лишь извержение, которое они помогли подавить и намеревались запечатать цементом изоляционизма. Но после войны американские негры вновь воспрянули духом бунта, и страна была встревожена тем, с каким упорством они боролись за законопроект Дайера против линчевания, например, и тем, как энергично они выступали против утверждения судьи Джона Паркера в Верховном суде США, и тем, как среди них распространялся коммунизм, и тем, как они были непримиримо солидарны в деле Скоттсборо.

Какими эмоциональными были те времена! Какие встречи, какое воодушевление! Окончив колледж всего на три года во время дела Скоттсборо в 1931 году, я помню почти еженедельные собрания. Особенно мне запомнилось одно из них, на котором выступала Элис Данбар Нельсон. Вдова Пола Данбара, негритянского поэта, получившего всенародную известность на рубеже веков, миссис Нельсон была одной из моих учительниц в средней школе и старым другом семьи. Она была красива - высокая, с кожей цвета слоновой кости и головой с блестящими рыжевато-золотистыми волосами, - а еще она обладала огромным и неотразимым обаянием. О ней можно было подумать, что она пропитана безмятежной культурой, даже божественностью. Я сомневаюсь, что ее когда-либо сильно волновали общие проблемы негров, и в тот вечер, когда она выступала перед большой аудиторией, состоявшей из представителей всех классов объединенного народа, она была похожа на богиню, сошедшую на землю, - но именно богиню. В конце, со слезами на глазах, она протянула руки в перчатках и воскликнула: "Слава Богу за дело Скоттсборо! Оно объединило нас".

Это было нечто, способное разбудить даже того, кто по своей конституции невосприимчив к массовым волнениям, а я не был невосприимчив - не в те дни. Я убедился в этом за год до того, второй раз оказавшись на глубоком Юге. Мой студент был хладнокровно убит белым человеком или людьми. Это произошло поздно вечером в одном из районов Атланты, на некотором расстоянии от колледжа, и в течение нескольких часов я ничего не знал об этом.

Но в тот вечер ко мне в комнату общежития без обычной вежливости постучался коллега примерно моего возраста.

"Пойдемте", - сказал он, энергично жестикулируя, - "нам пора".

Я возмутилась, что он ворвался ко мне. Мы и так не особенно заботились друг о друге. "Ты мог бы постучать", - сказал я.

"Ради всего святого, сейчас не время для утех!" - сказал он. "Нам нужно идти".

"Куда идти? Я никуда не пойду".

"На собрание".

"На какое собрание?"

"Боже мой, парень, разве ты не знаешь, что Денниса Хьюберта линчевали?" Его глаза пылали, как костры на сквозняке. Он был сильно взволнован.

"Что!" Должно быть, это был вопль ужаса и неверия. Мальчик сидел в моем классе всего пять часов назад.

"Его линчевали какие-то чертовы пьяные наркоманы. Негры в Восточной Атланте собираются вместе, и мы тоже собираемся. Мы не собираемся смиряться с этим. Эти крэкеры могут прийти сюда в любой момент".

Я не мог уловить ход его мыслей, даже после того как он напомнил мне, что родственник - то ли дядя, то ли двоюродный брат убитого мальчика - был преподавателем колледжа; но опасные возможности прихода "этих крэкеров" расцвели в моем воображении, как ядовитые цветы.

"А если они придут, что тогда?" - спросил я. спросил я.

"Для этого мы и проводим собрание. Пойдем."

И я пошла. Нас было всего несколько человек, в основном молодые преподаватели, и мы старались казаться дисциплинированными и решительными, но истерия была налицо, и я был охвачен ею достаточно долго, чтобы пообещать купить пистолет с помощью подпольных средств, которые нам пришлось использовать; и достаточно долго, чтобы быть в восторге от обладания им, когда на следующий день он был доставлен в большой тайне; и даже достаточно долго, чтобы пожелать использовать его против любого скрытного белого человека, который предложит.

Окрестности колледжа и, полагаю, все негритянские районы города были похожи на лагерь по тревоге. Было много ложных тревог: по окрестностям разъезжали машины с белыми мужчинами; был убит еще один студент; несколько белых подростков поймали негритянку, идущую с работы, раздели ее и голышом прогнали по улицам центра города. В дополнение к этому совершались героические поступки, например, охрана дома президента колледжа и родственника Хьюберта, работавшего на факультете. Каждые несколько дней в течение месяца негры устраивали собрания, но через некоторое время я перестал на них ходить. Они стали казаться мне публичными проявлениями очень личных эмоций, в том же неприличном вкусе, что и те непристойные религиозные службы, на которых служители культа держат в руках змей.

Однажды я взял ружье и прилагавшуюся к нему коробку с патронами, выехал за город и выстрелил в мертвое дерево. Ружье, завернутое в промасленную серую фланель в картонной коробке, до сих пор лежит где-то среди моих вещей, но с тех пор я его не видел.

4

Многие негры будут отрицать, что в их жизни действовала сила, которую я назвал демонической. Если их спросят об этом, они быстро обидятся, как будто она относится к тому же типу, что и неестественное половое влечение, которое, конечно, те, кто им обладает, благоразумно держат в секрете. Они будут утверждать, что живут *нормальной, естественной, здоровой* жизнью, даже на Юге. Они укажут на свои "нормальные" интересы в профессиональной деятельности и в домашней жизни. Они перечислят список своих белых друзей. Они честно скажут: "О, есть способы избежать предрассудков и сегрегации". Я не спорю с ними (как и с другими): просто я им не верю. Необходимость избегать предрассудков и сегрегации сама по себе нездорова, а постоянное следование ей очень близко к психопатической грани. Мой опыт показывает, что ни один негр, даже такой нерасовый, как, скажем, рождественская вечеринка, не может собраться вместе, но главной темой разговора становится раса. От этого смертельно тошнит.

Так что в некотором смысле, отчасти через написание этого эссе, я ищу очищения, катарсиса, чистоты - как, возможно, все мы делаем бессознательно в той или иной степени. Я делаю это сознательно, чувствуя, что обязан это сделать. Мне это необходимо по духовным причинам, как другим необходимо искать Бога. По сути, это своего рода богоискательство или, по крайней мере, экзорцизм. Наблюдать за своими чувствами, страхами, сомнениями, амбициями, ненавистью, понимать их истоки и взвешивать их - значит контролировать их и уничтожать их господство. Записывая некоторые вещи, я надеюсь избавиться от чего-то нездорового во мне (что, возможно, нездорово в большинстве американцев) и таким образом смотреть в будущее с некоторым спокойствием.

И наконец, я надеюсь, что эта статья станет эпилогом к тому вкладу, который я внес в "расовую литературу". Я хочу заняться другими вещами. Не знаю, смогу ли я это объяснить, но обязательства, налагаемые расой на среднего образованного или талантливого негра (если это звучит нескромно, то так и должно быть), огромны и становятся в конце концов обременительными. Я устал отдавать свою творческую инициативу на откуп этим требованиям. Думаю, я не одинок. Однажды я слышал, как одна всемирно известная певица сказала, что как бы ни были прекрасны спиричуэлс и какой бы вызов они ни бросали ее артистизму, она устала от обязанности находить для них место в каждой программе, "как будто это тематическая музыка", полностью идентифицирующая ее. Она устала от попыток поощрять в других и поддерживать в себе расовую гордость, которая стала неискренней и своеобразной. Спиричуэлс принадлежат всему миру, - сказала она, - а от меня требуют, чтобы я пела их так, будто они принадлежат только мне и другим неграм, и будто я считаю, что мой талант наиболее полезен и действительно реализован в их исполнении, а я не думаю, что это так". На самом деле, добавила она, ей все труднее и труднее *проникать* в них.

Я понял, что она имела в виду. Она больше не могла быть заключена в этноцентрические рамки: она не хотела этого. Человеческий дух больше этого.

Специализация чувств, талантов и знаний (более трех четвертей негритянских докторов наук написали свои докторские диссертации на тему, связанную с неграми!), которую ожидают от негров другие представители их расы и белые, трагична, порочна и разъединяет. Я устал пытаться, подчиняясь этим ожиданиям, прощупать свой путь к особенностям реакции и отклика, которые должны быть исключительно "негритянскими". Я устал от противоестественной обязанности превращать такие таланты и знания, какими я обладаю, в специализированные инструменты для продвижения ложной концепции под названием "раса". Таким образом, это расширенное эссе, вероятно, станет моим последним публичным комментарием по так называемой американской расовой проблеме.

5

Сторонникам и пропагандистам различных видов расовой политики были даны имена. Есть градуалисты (и среди них есть черные и белые), которые считают, что каким-то образом в результате механического процесса все наладится, хотя к каким конкретным целям это приведет, они не говорят. Расовые шовинисты выступают за создание самодостаточного негритянского экономического, социального и культурного острова и, похоже, не боятся разрушительного тайфуна, надвигающегося из окружающего моря белого мира. Поборники образования считают, что интеллектуальная компетентность, о которой свидетельствует количество негритянских Фи Бета Каппа, докторов философии и различных специалистов, позволит расе завоевать уважение, которого она сейчас не получает. Есть индивидуалисты, которые призывают каждого человека самостоятельно искать компромиссы, которые принесут ему ту самореализацию, к которой он стремится. Наконец, есть радикалы (среди них нет степеней радикализма), которые, поскольку они, как им кажется, видят разрушение как цель и сначала выкорчевывают все, на самом деле являются нигилистами.

Различные расовые и бирасовые организации рассматривают себя как представителей и проводников той или иной политики. Южный региональный совет, например, придерживается постепенных взглядов. Негритянская пресса - шовинистическая. Большинство негритянских греко-буквенных организаций (которых насчитывается семь национальных и многие десятки секционных и местных) придерживаются просветительских взглядов. Университет Говарда - хотя и не его президент - и самые известные частные негритянские колледжи придерживаются индивидуалистического подхода. До своего распада Национальный негритянский конгресс был радикальным.

Но ни одна из этих организаций не является бесшовной, чистой и незапятнанной. В каждую из них просочилось влияние одной или нескольких других. В той мере, в какой Южный региональный совет верит в сегрегацию (а это очень далеко), он шовинист, а в той мере, в какой он ставит во главу угла интеллектуальный рост, измеряемый научными достижениями, он также просветительский. В силу самих обстоятельств своего основания частные негритянские колледжи склоняются к шовинизму, и они еще больше поощряют эту тенденцию курсами по "негритянской" истории, искусству, литературе, бизнесу и жизни. Кроме того, недавно некоторые негритянские колледжи высказались в пользу сегрегационного регионального плана образования на Юге - частные по не совсем понятным причинам, государственные, потому что только сегрегация спасет их от вымирания. Радикалы, которые, так или иначе, придерживаются позиции, что радикализм - это самая

высокая и яркая звезда на идеологических небесах, очень гордятся интеллектуальным калибром Поля Робсона, Бена Дэвиса и другого Дэвиса, Джона, бывшего президента Национального негритянского конгресса. Негритянская пресса, конечно, отражает эти конфликты и противоречия.

Но провалы этой политики объясняются чем-то более фундаментальным, чем противоречия. Градуализм - образ мышления, которым характеризуется межрасовая деятельность на Юге, - ориентирован на идею исторического принуждения, о которой говорилось выше. В основном это вера без дел, гром без Бога и пространные, часто фальшивые отчеты о "победах", представленные в виде снижения уровня линчевания и "длинного шага вперед" (почти на поколение) от дела Холкатта (1932) до дела Свитта (1950).^[4] Как принцип, градуализм очень лестен для негритянского народа. Он приписывает им сверхчеловеческое терпение, стойкость и смирение перед лицом огромного социального зла. Постепенность - *это laissez faire* - запрет на планирование и предвидение в динамике развития общества.

Шовинизм так же непрактичен для негров в Америке, как и принципиально опасен для любого народа где бы то ни было. Даже если бы негры смогли продублировать социальный и экономический механизм - а я сомневаюсь, что они смогут это сделать, - материальные ресурсы, от которых будет зависеть их расовый остров, должны будут прийти откуда-то извне. В постоянно сжимающемся мире полная независимость и изоляция невозможны. И даже если бы они не были невозможны для негра в Америке, разве их достижение не привело бы к постоянному понижению статуса до второстепенного? Сами цифры - то есть соотношение населения - гарантируют это. Я не могу себе представить, чтобы белое большинство сказал: "Конечно, давай, создавай свое самообеспечивающееся хозяйство в углу моего дома".

Расовый шовинизм по-прежнему велик, и этот факт не должен никого удивлять. Негритянские органы самовыражения, включая научные журналы, документально подтверждают это: *Phylon: [A] Review of Race & Culture*, издаваемый Университетом Атланты; *Journal of Negro Education*, издаваемый Университетом Говарда; *Journal of Negro Higher Education*, издаваемый Университетом Джонсона К. Смита; *Journal of Negro History*, издаваемый Ассоциацией по изучению жизни и истории негров, и ряд менее значительных изданий. В основе шовинизма лежит чисто эмоциональное убеждение. Отчасти это разочарованная гордость, которая выражается в проведении "Недели негритянской истории", дихотомизирующей историю Соединенных Штатов, и в курсах "негритянской" литературы и искусства, которые оказываются доблестными, но тонкими струйками, насильно и бессердечно отвлеченными от основного потока американской жизни. Шовинизм проистекает из естественного желания найти избавление от неравной борьбы между черными и белыми и прекратить дискриминацию.

Философия просветителя лишь поверхностно отличается от философии индивидуалиста. Концепции, в которых они освящены, как бы затушевывают тот факт, что ни один человек не является полным хозяином своей судьбы. Только незрелые люди не признают, что индивидуальные желания теперь почти не имеют авторитета в мире. Просветители и индивидуалисты признают существование совместного зла, но отрицают необходимость совместных действий против него. Это также, как мне кажется, отрицание братства - принципа, который должен действовать во все более и более широких сферах человеческой деятельности. Любое изложение идеалов индивидуалиста звучит как возврат к временам, предшествовавшим развитию теорий общественного договора, или, лучше сказать, социального контракта.

Противоречия и конфликты во всем этом лежат глубже, гораздо глубже, чем может показать любой краткий и общий анализ. Они погружают свои железные щупальца в сознание отдельных негров, разрывая его на части, разбивая на сверхчувствительные отсеки. Именно это мы должны понимать, когда думаем, например, о Поле Робсоне; когда слышим, как президент негритянского колледжа заявляет, что выступает против сегрегации, и в то же время призывает штат добавить курсы для выпускников к его и без того некачественному учебному плану, чтобы негритянские соискатели дипломов не позорили белый университет штата; когда читаем на первой странице негритянской газеты очернение белых женщин, которые "бегают за" негритянскими мужчинами, а на следующей странице - восхваление удачного смешанного брака. Это нечто большее, чем просто устойчивость и приспособление, и здесь задействованы не только негритянские сердце и разум. Ведь негр - это не проблема *in toto* и не проблема *in vacuo*. Его поведение, модели его множественной личности, прилив и отлив действий и противодействий, а также мучительные разрывы в его групповой жизни являются результатом жестокого обращения, которому он подвергается со стороны белых американцев.

6

Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что суть этих конфликтов проявилась в моем собственном доме. Моя мать, которая, конечно, не стала бы так выражаться или даже сознательно так думать, была индивидуалисткой. Она также была идеальным воплощением того типа негритянской женщины, существование которого до сих пор отрицают те, кто придерживается старых унижительных привычек мышления. Добродетельная, образованная и отличавшаяся красотой, она прожила свою короткую жизнь в твердой уверенности, что нравственного проявления индивидуальной инициативы, воображения и воли достаточно, чтобы преодолеть препятствие в виде цветной кожи. Сейчас передо мной несколько строк, которые она написала, очевидно, думая о своих сыновьях.

И вот ты сын темного оттенка!

Подумай, что Бог видит в твоём лице

Меньший образ его любви и милости.

Все беды жизни предназначены для тебя?

Какой свет перед тобой манит?

Железная воля, открытое сердце и разум,

надежда, желание, утонченная мысль...

Это компас для истинного расчета.

Эти строки не являются полным выражением ее мысли, поскольку в ней было достаточно шовиниста и достаточно чувства реальности, чтобы понять, что в ее время, за исключением самых необычных обстоятельств, пределы прогресса для негра находились в пределах негритянского мира. И все же она с задумчивой гордостью говорила о Говарде Дрю, который

был великим спортсменом в колледже, а затем стал адвокатом в Хартфорде с исключительно белой клиентурой; и о Марии Болдуин, негритянке-директоре очень уважаемой школы Агассиз в Кембридже, куда многие профессора Гарварда отправляли своих детей; и о Лилиан Эванс (мадам Эванти), которая в течение сезона пела оперу в Ла Скала; и даже (хотя и с меньшей гордостью, поскольку театр по-прежнему вызывал у нее подозрения) о Берте Уильямсе.

Но мой отец был другим. Он тоже гордился такими успехами, но его раздражало, что знание о них не было более распространенным. Он использовал бы их, с одной стороны, как аргументы против теорий превосходства белых Лотропа Стоддарда, Мэдисона Гранта и Джерома Дауда, а с другой - как аргументы в пользу своей собственной теории, согласно которой негр может и должен развивать свою собственную американскую культуру. Я видел, как он был на грани слез, когда в начале 1920-х годов потерпел крах банк Брауна и Стивенса - "самый богатый и надежный негритянский банк в мире". И не потому, что он потерял деньги в результате этого катастрофического краха - он не потерял, - а потому, что этот крах бросил мрачную тень на перспективы самодостаточной негритянской культуры. Он много раз видел другие тени, но оставался (и сейчас, в свои восемьдесят два года, по-прежнему остается в душе, я думаю) расовым шовинистом. Для него не было никакого несоответствия между этим и тем, что он настаивал на том, чтобы его сыновья отправились на Восток в колледж Новой Англии.

Все годы моего детства отец был секретарем уилмингтонского (штат Делавэр) отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, секретарем-казначеем Дома Сары Энн Уайт (ныне Дом Лейтона) для пожилых цветных людей, а также членом правления местного негритянского клуба Y.M.C.A., который он помог основать. Кроме того, у него были свои личные проекты, например, он укорял инспектора по прогулам за то, что тот не заставляет цветных детей ходить в школу, порицал полицию за то, что она позволяет процветать пороку в некоторых негритянских кварталах, а также ругал падших негритянских женщин и беспринципных негритянских мужчин, где бы он их ни нашел. Он был жизнерадостным, серьезным и приподнятым, когда занимался этой деятельностью. Каких людей привлекал наш дом! Как отчаянно (теперь я это понимаю) они искали упрощения и того достоинства, которое дается только чувством принадлежности!

Ведь именно к ним - простоте и достоинству - в конечном счете и стремятся люди. Не в силах достичь их в широком смысле, люди нарезают жизнь на сегменты, которыми можно манипулировать, проводят политику контроля, сводят к каким-то мелким порабощающим программам и лозунгам великие цели жизни - "Америка для американцев", "За улучшение положения цветного населения", "Истинная церковь" - и беспокойно шагают к могиле в иллюзии, что то конкретное искажение, в которое они попали, - это прямой и узкий путь к спасению.

Мой отец был таким. Я думаю, что все негры, которых я знал в детстве, были такими. Это не совсем их вина. Нет нужды указывать на то, что они почти не имели права голоса при определении основных условий, в которых жили, и что именно это общее страдание в первую очередь объединяло их. Но подвержен общему страданию был не массовый человек, а классы и индивидуумы, и то, что они переживали вместе, они рассматривали по отдельности в мощном свете личных и классовых интересов и амбиций. И под этим светом кастовый принцип, на котором настаивало белое общество и на который негры реагировали в первую очередь, - под этим светом кастовый принцип рушился. Негритянства как такового оказалось недостаточно. Фраза "Мы все негры вместе", так часто звучавшая как боевой клич,

имела лишь спорадическую силу. Внутри негритянской группы существовали ожесточенные конфликты и серьезные противоречия.

Я помню, как приливная волна гарвиизма^[5] захлестнула стены, которые мой отец поспешно возводил против нее. У него не было особого предупреждения. Будучи секретарем Уилмингтонского отделения N.A.A.C.P. в штате Делавэр, он читал - нет, изучал - "Кризис", национальный орган Ассоциации. Он знал, что официальная линия заключалась в том, что Маркус Гарви был бандитом, а его банда - мошенниками, наживающимися на бедности и невежестве низших классов. "Не вкладывайте деньги в завоевание Африки, - говорилось в "Кризисе". Не рискуйте отчаянно в своих взбалмошных мечтах". Мой отец также знал, с нарастающим беспокойством, как быстро растет число последователей Гарви. Но ему почему-то казалось, что увлечься им *могут* только люди из трущоб, а он не считал Уилмингтон настоящими трущобами. Конечно, он был наивен, ведь в двух шагах к востоку от нашего дома начиналось шумное убожество, которое, как густая слизь, растекалось до самой реки. Когда крепкий, трудолюбивый гражданин (его уважали за то, что он был трудолюбив, держал своих детей в школе и не давал просрочить страховку) принес моему отцу официальное приглашение присоединиться к гарвеевской "линии марша", отец срочно обратился к членам N.A.A.C.P. с просьбой о встрече.

Но было уже слишком поздно, так как гарвеевцы внезапно нагрянули к нам. Они пришли с криками, ревом горнов и целым лесом флагов - черная звезда в центре красного поля. Они произносили речи на пустыре, где обычно раскидывали свои палатки карнавалы. Они устроили огромный красочный парад, и молодые женщины, напряженно трезвые и простые даже в своей униформе, раздавали миллионы серпантинных лент с лозунгом "Назад в Африку". Мы с отцом стояли на перекрестке улиц под нашим домом и смотрели, как парад проносится мимо. Среди марширующих отец заметил не одного "адвансера" (его термин), даже их жен и детей. Это были не жители трущоб. Это были люди, имевшие небольшие процветающие магазины и рестораны по пошиву одежды, личные слуги и те, кого Томас Дж. Вуфтер-младший называет "черными йоменами", необучаемыми, но проникательными. Они были надежными помощниками на собраниях, обещавших подъем неграм, и преданными, хотя, возможно, и несколько настороженными членами N.A.A.C.P. Некоторых из них мой отец набирал лично, и, когда он видел их в строю, у него вырывались слабые стоны ужаса. Я был мальчишкой, но помню. И не столько из-за парада, сколько из-за того, что случилось потом.

Приход гарвеевцев разрушил оборонительный оплот вокруг защитной общины негров. Белые не поняли этого ни сразу, ни потом. Привыкшие считать негров недифференцированной кастой, они не могли этого ожидать. Там, где, казалось, была солидарность, возникли фракции. Там, где раньше было одно руководство, теперь их стало больше. Там, где раньше принято было ассоциировать силу в местном негритянском мире с отдельными людьми, теперь вырисовывалась безликая масса; и там, где, казалось, не существовало спонтанной движущей силы, теперь стоял гул самовозрастающей энергии. Белые не понимали, но некоторые из них нашли и использовали это преимущество.

В нашем районе, где белых было всего тридцать процентов населения, и который быстро превращался в гетто, негры пользовались политическим контролем. Они без труда избирали одного из своих в школьный совет, другого - в городской. Одни и те же люди снова и снова возвращались на свои посты. То, что они там делали (а делали они мало), казалось не столь важным, как то, что они там были. Они обладали огромным авторитетом и влиянием среди негров, и им не приходилось бороться за его сохранение.

Но на осенних выборах того года им пришлось. Под руководством агентов из Нью-Йорка местные гарвиевцы выставили своих кандидатов, выбранных по классовому признаку: действующие депутаты, которые, по общему выражению, были "хероями", обнаружили, что их сторонники расколоты. Предвыборная кампания пахла смолой и серой и приводила к уличным потасовкам между подростками, которых, к сожалению, было больше, чем детей из фракции "комендантов" и "гарвеевцев". Белые понимали происходящее лишь настолько, чтобы давать ему бурлескную трактовку в прессе. Но агенты из Нью-Йорка были профессионалами, и их профессионализм вскоре проявился. Они заключили сделку с белыми лидерами в приходе. Прежде чем негры успели что-либо понять, белые подобрали своих кандидатов, и пока негры боролись друг с другом, белые выиграли выборы.

Это был удар, но это еще мягко сказано. В нашем городе, как и в других городах приграничных штатов и северных районов, сложилась модель сильного, единоличного негритянского руководства (как, подозреваю, и модель сильного, единоличного польского, итальянского и еврейского руководства), и теперь белые люди оказались в затруднительном положении. Шаблон был нарушен, они сами сбили подпорку, обеспечивавшую стабильность расовых отношений. Предстоял выпуск облигаций, и поддержка негров была необходима для его успеха. До сих пор белые люди влияли на направление негритянской мысли через местных негритянских лидеров. Но кто был этими лидерами сейчас? Белые люди нуждались в них; без них они чувствовали себя неуютно и даже страшно; им нужно было знать и по возможности контролировать, о чем думают негры. Расовые волнения в северных городах - Вашингтоне, Честере, Чикаго - были еще зелеными в памяти, а Уилмингтон сам едва не погрузился в этот гражданский ужас. Конгресс в то время нагнетал страх перед большевизмом, а конгрессмен Джеймс Бирнс из Южной Каролины призывал предъявить обвинения в подстрекательстве к мятежу некоторым национальным негритянским представителям.^[6]

Но негры были в равной степени потеряны и напуганы неопровержимыми доказательствами их собственной фракционности - и тем больше, чем больше белые люди знали об этом. До тех пор пока им удавалось сохранять солидный вид, независимо от того, какие внутренние противоречия их раздирали, они чувствовали себя в достаточной безопасности. Но теперь белые могут нас порезать, - сказал мой отец. "Мы разделены". Ему и в голову не приходило, что меньше всего на свете белые хотели бы иметь разделенное негритянское население. Насильственная сегрегация и кастовая система были доказательством того, что они этого не хотят. Мой отец, который провел более двух третей своей жизни за линией Мейсона-Диксона, ненавидел сегрегацию, но у него развилось мышление гетто, которое делало ее переносимой и безопасной.

Война импульсов постоянно происходила (и, боюсь, происходит) как среди белых, так и среди негров. Это симптом американской психологической болезни. Это также обвинение в адрес нашей культуры и преступление против демократии. Сейчас многие это понимают, но большинство - нет. Действительно, большинство построило софистические барьеры против понимания. Они не знают этого, потому что множество мелких, тонких заблуждений, которые они допускают по привычке, ослабляют их чувство морального конфликта, когда они сталкиваются с великим противоречием. Высказывание моего отца "Никогда не доверяй белому человеку" по смыслу ничем не отличается от высказывания белого человека "Все негры на одно лицо". Эти фразы представляют собой наименьший общий знаменатель в американском расовом опыте. Они являются сущностью эмпиризма. Они озвучивают опыт, настолько униженный и лишенный человечности, что полностью дискредитируют наш образ

жизни в глазах всего мира. Они отрицают вдохновляющий первый принцип демократии - что человек считается человеком, независимо от его цвета кожи или вероисповедания.

"Сынок, - сказал мой отец накануне моего отъезда на Восток в колледж, - помни, что ты негр. Тебе придется делать вдвое больше и вдвое лучше, чем твоим одноклассникам. Прежде чем действовать, подумай, как твои поступки отразятся на других неграх. Эти белые люди будут судить о расе по тебе. Не подведи расу, сынок".

Я не помню, чтобы протестовал против этого ужасного бремени, возложенного на мой ум и сердце. Более того, я уверен, что не протестовал. То, что сказал отец, совпадало с тем, что меня учили *чувствовать*. Отец продолжил.

"На востоке ты можешь чувствовать это меньше, потому что там меньше негров, или по той же причине ты можешь чувствовать это больше. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Но нет, куда бы вы ни поехали в этой стране, вы никогда не уйдете от того, что вам дадут понять, что вы негр".

"Да, сэр", - сказал я.

"Мы пришельцы в чужой стране". (И все же он боролся с мечтой гарвеевцев вернуться "назад в Африку"; аплодировал депортации Эммы Голдман; в каждый день национального мемориала вывешивал флаг, а когда майские бризы, июльские солнца и февральские снега рвали и терзали его, покупал другой!) "Но в этом есть какая-то цель, - продолжал он устало. "Бог действует неисповедимыми путями....". Конечно, есть какая-то цель. Так что постарайся. Помни, что ты негр".

"Я буду помнить", - сказал я, зная, что буду, потому что меня хорошо и точно учили и потому что такие уроки проникают глубоко. Но даже тогда, как мне кажется, я чувствовал железную несправедливость этого; возможно, даже черпал в этом печальное утешение, как многие негритянские мальчики до и после. Ведь, в конце концов, это готовое оправдание. Более того, это разрешение для всех нас жить в той слепой, эгоистической незрелости, от которой, даже при самом благотворном обучении, мы все равно не желаем отказываться. "Вдвое больше в два раза лучше....".

"Негр так же хорош, как и любой другой", - говорил мой отец, - "но он всегда должен это доказывать".

Обремененный таким образом, я отправился в колледж.

7

Предположения, которые были актуальны в моем детстве, оказались ошибочными. О них было сказано так много, что я упоминаю о них неохотно, но их сила подтверждается тем, что многие, очень многие до сих пор им доверяют. И не только южные белые, дезинформированные и невежественные; не только белые, но и чернокожие". Ходдинг Картер, писатель и журналист, удостоенный Пулитцеровской премии, несомненно, заслужил свою репутацию южного либерала, но всего несколько месяцев назад он писал об "общей настойчивости в отношении политического господства белых на Юге", которая

"несокрушима, как ничто, сотканное человеческим разумом", и заявлял о своей непоколебимой приверженности расовой сегрегации на основании сохранения "этнической целостности" белой расы. Чуть раньше комиссар сельского хозяйства штата Джорджия заявил: "Желтые, коричневые и черные" - даже не удосужился добавить "люди" - "психически непригодны для управления в нашей форме правления". А в 1951 году Керр Скотт, губернатор Северной Каролины ("самого либерального штата на Юге"), повторил слова Джорджа. На вопрос негритянского репортера, почему его инаугурационное обещание было выполнено только в части назначения одного негра, губернатор ответил: "На вашем месте я бы никогда не задавал этот вопрос. Я дал вам [людям] больше, чем вы можете обработать..... Вот почему я говорю вам, что вы никогда не должны были задавать этот вопрос".

Итак, старые предположения сохраняются: предположение о врожденной неполноценности негра; о трагических социальных и культурных последствиях, если сегрегация будет разрушена на любом, кроме самого поверхностного уровня; о том, что негры предпочитают сегрегацию, и многие другие. Они были приняты в первую очередь как рационализации, с помощью которых белый человек пытался, как говорит Гуннар Мюрдаль, "построить мост разума" между своим прославленным уравнилельным кредо и противостоящими ему поступками. Из-за этого усыновления, вызывающего чувство вины, они были более горячо любимы. Они были также более яростно вбиты в общее сознание, где, отдаваясь, как гром в долине, они выкатили мелодию, под которую белые и негры танцуют с 1900 года - негры, потому что должны.

Это статичный, но суетливый танец. Мы кружимся в его сложных узорах, реагируя как условные и произвольные рефлексy. Несмотря на все пылкиe хлопки и крики, наши реакции на расовую проблему на самом деле не эмоциональные и интеллектуальные, а мышечные. Я не могу сейчас, как когда-то давно, поверить в моральную и интеллектуальную убежденность демагогов, таких людей, как Ричард Рассел, Джеймс Бирнс и Стром Турмонд; я не могу поверить, что выводы современной науки настолько закрыты и ограничены, даже в Южной Каролине, Джорджии и Миссисипи, что ускользнули от внимания этих образованных людей. Старые демагоги имели это оправдание: они были невежественны. Молодые - это знающие кукловоды, цинично манипулирующие нитями прошлого.

И даже те массы, которые реагируют на эти ниточки, знают лучше, чем раньше; даже у них убежденность ослабевает, и цинизм берет верх. Моральная убежденность в том, что ради общественного блага они оставили всю власть за собой, больше не действует. Власть ради власти стала правилом, и когда один из ведущих политиков Джорджии заявил об этом в своем политическом обращении, стропила зазвенели. "У нас есть власть, и мы намерены сохранить ее там, где она должна быть. Если негры будут голосовать оптом и если система окружных единиц уйдет, у нас будет намного меньше власти. Но она не должна исчезнуть. Система окружных единиц, которая раньше защищала наше сельское население от хитрой городской политики, теперь вооружает нас всех силой против врагов господства белой расы".

Старые предположения сохраняются, но, что еще хуже, к ним добавились другие, чтобы уклониться от знания, которое теперь нельзя игнорировать, и чтобы сделать возможным соответствие порочной диалектике власти, которая звучит в Америке сейчас так же звонко, как и во всем остальном мире. И главная из них заключается в том, что враждебность - это приемлемое состояние, в котором следует жить. Дуализм рассматривается как естественное разделение на абсолютные противоположности, на врагов: коммунизм и демократия, восточный человек и западный человек, родной и чужой, и, что особенно важно для этого спора, черный и белый. Не черное, как раньше, - жалкое слабое и заблуждающееся дитя

природы; не белое, как раньше, - терпимый каратель и защитник, сильный взрослый. Но черные, возведенные научными открытиями (и решениями высшего суда страны) в ранг близкого равенства с белыми, а значит, врага для белых.

Преувеличено? Но в сторону истины, а не от нее. Та конкуренция, которая когда-то ограничивалась самыми низкими экономическими уровнями и вылилась в легендарную ненависть бедных белых масс к неграм и наоборот, теперь действует на более высоких уровнях. Это уровень квалифицированного труда, о чем Братство локомотивных машинистов и пожарных знало, когда подало иск, чтобы запретить железным дорогам продвигать негров-пожарных (также членов Братства) в инженеры. Это на уровне образования, и люди, которые, как сообщается, являются студентами медицинского колледжа университета Южной Каролины, признались, что посылали письма с угрозами негру-абитуриенту и сожгли крест на его лужайке перед домом. Это происходит и на уровне профессий, так что комитет Национальной ассоциации адвокатов, состоящий из негров, счел необходимым сообщить, что "по мере повышения качества обучения негритянским адвокатам становится все труднее получить допуск к адвокатуре в некоторых южных штатах".

На самом деле, конечно, уже невозможно объяснить дискриминацию и сегрегацию негритянской неполноценностью. Пока это было возможно и казалось возможным навсегда, "практичные люди" находили своего рода социальное оправдание в лишении гражданских прав, в повышении экономических и культурных барьеров, в деспотическом патернализме, который говорил: "Ты не должен". Даже негритянский лидер Букер Вашингтон считал это безупречным и, по сути, хорошим, не подозревая, что традиция *благородства*, на которой, как утверждалось, все это основано, может однажды оказаться столь же неэффективной, как некромантия. Сегрегация была порядком; она была контролем; она была стальной и бетонной оболочкой, закрывавшей разрушительный социальный взрыв. Подавляющему большинству и их лидерам так кажется до сих пор.

Самые сильные голоса на Юге сегодня говорят, что сегрегация должна быть сохранена: Губернатор Джеймс Бирнс в своей инаугурации не был настолько заинтересован в выражении своих взглядов на внешнюю политику, чтобы не заверить слушателей в своей неизменной оппозиции "Справедливому курсу". Упомянутый выше либерал Ходдинг Картер не настолько либерален, чтобы не считать "трагедией для Юга, негров и самой нации" отказ от сегрегации. И "только глупец, - цитирует Лилиан Смит из газеты *Atlanta Constitution*, - скажет, что южная модель разделения рас может или должна быть отменена". Но если сегрегация должна быть сохранена, то теперь она должна основываться на чем-то другом, а не на неполноценности негров.

А на чем же еще? Циничная идеология поклонения власти, то, что Х. А. Оверстрит называет "образом борьбы и захвата", философия ненависти. Это то, к чему пришел Гитлер. Это результат модели мышления, которой отчаянно угрожают наука и социальные перемены.

8

Я - интеграционист. Я был им в течение долгого времени. Это не тот принцип, к которому я пришел путем размышлений. До последних нескольких лет я не прикладывал к нему весь

свой интеллект. Я чувствовал свой путь к нему, так же как некоторые люди, несмотря на мешающий опыт, чувствуют свой путь к идеалам честности, трезвости и постоянства. Ощущение своего пути не было полностью осознанным. Это было похоже на действия человека, который неистово брыкается и брызгается, пытаясь спастись от утопления, и вдруг обнаруживает, что достиг полки, на которой можно стоять в русле реки. Его целью была не полка, а просто спасение. Я брыкался и плескался во все стороны, и вдруг оказался там.

Я был сторонником интеграции, когда в начале 1930-х годов коммунисты почти каждую ночь разбивали лагерь на моей тропе и зажигали манящие яркие костры в пугающей темноте того времени. Я не верил тогда (не больше, чем сейчас), что в тот момент, когда будут сняты решетки сегрегации, все белые женщины Юга упадут в объятия негритянских парней. Многие мои знакомые с ликованием признавались в этом и с таким же ликованием заявляли, что неграм, которых линчевали за изнасилование, просто не повезло, что они попались со своими всегда готовыми к этому белыми кавалерами. Они находили обоснование этому мнению как в фактах, так и в художественной литературе, которая слишком громко провозглашала отвратительное чувство белой женщины к негру и неприкосновенную чистоту белой женственности. Мои знакомые считали, что южные белые слишком много протестуют.

Так же, похоже, считали и коммунисты. А может, и нет. Возможно, это была просто линия и выполнение четких указаний на тему "Как вербовать негров в восточных штатах". Возможно, они умело играли на том, что считали тайными мечтами молодого, зеленого, запутавшегося и одинокого человека.

Полагаю, все люди страдают от этих недугов, особенно в юности, в ранней взрослой жизни; но у меня было нечто большее. У меня был тяжелый случай "негрофилии", которая попеременно раздирала мое сердце ненавистью и любовью. Я был озадачен направлением своей жизни и крайне сомневался (как иногда и сегодня) в жизненном предназначении. То ли от природы, то ли благодаря обучению я сторонился всех людей, кроме немногих, и некоторые из них были для меня разочарованием, и я не сомневаюсь, что был для них тяжким испытанием. Мне не хватало социальной адаптации. Я никогда не считал терпимость достойной восхищения как принцип приспособления или чувства, и я полностью отвергал ее для своих друзей. Терпеть можно было собак, плачущих детей и незнакомых людей, с которыми не нужно было знакомиться. Мои друзья постоянно не оправдывали моих глупых ожиданий; мои суждения были суровы. Я постоянно расставался с ними и снова присоединялся к ним, но понимания не прибавлялось.

Не думаю, что я стал бы коммунистом, даже если бы во мне не было этих недостатков. Но, конечно, если бы не они, коммунистам было бы легче атаковать мою слабую позицию на крайнем левом фланге демократии. Не те разведчики пришли на разведку, и они выбрали не тот подход.

Первым пришел влажный, захудалый тип, толстый и астматик. Я часто видел его в маленьком ресторанчике, где обедал. Когда я входил, он часто вел негромкий разговор с разными людьми - мужчинами и женщинами. Он всегда сидел за круглым семейным столиком в углу, под углом от двери, и мой взгляд первым делом падал на него. Перед ним стояло пиво (его только что снова разрешили), блюдо с оливками и косточками от маслин и тарелка с жареной картошкой, которую он ел пальцами. Хотя мне казалось, что он не замечает меня, никто не мог не замечать его. Даже сидя за столиком у окна и стоя к нему спиной, я

чувствовал его присутствие. В перерывах между бряцанием посуды и разговорами его хрип был слышен по всему крошечному ресторанчику.

Однажды вечером, когда я пришел туда позже обычного, потому что ждал, когда закончится холодный дождь, и занял свое место, Эрик, официант-немец, сказал мне, что "Филипп" хочет поговорить со мной. Он указал на толстого мужчину за большим столом. Вероятность того, что Эрик ошибся, была невелика. В ресторане было всего дюжина столиков, и он обслуживал ограниченный и постоянный круг посетителей - неважных руководителей, клерков и подмастерьев с ювелирных мануфактур и нескольких плебеев-аспирантов вроде меня. Не помню, чтобы я когда-либо видел там другого негра. И хотя Эрик не совершил никакой ошибки, я был уверен, что не хочу разговаривать с "Филипом". Но прежде чем я успел облечь свои мысли в слова и набраться смелости, чтобы их произнести, Филипп уже стоял рядом. Он невыразительно посмотрел на меня, отодвинул стул, чтобы вместить свой надутый живот, и сел.

"Этот дождь. Мои друзья сегодня задерживаются", - сказал он. "Вы меня извините." В его голосе не было ничего вопросительного, неуверенного или извиняющегося. Я почувствовал острую неловкость. Он достал из принесенного с собой блюда кусок картофеля и поднес его ко рту. Это был маленький рот с полными губами. Его руки, как я заметил, тоже были маленькими и очень белыми, хотя ногти и костяшки пальцев были грязными, что контрастировало с его влажным, покрасневшимся лицом.

Что означает буква "J" в вашем имени?" - спросил он. Я был застигнут врасплох и, должно быть, показал это, потому что он разразился снисходительным смехом. "Вы не думали, что я знаю ваше имя". Это тоже не было вопросом. "Я знаю". И он произнес его.

Звук, исходивший от совершенно незнакомого человека, казалось, обрел какую-то власть надо мной. Я даже почувствовала испуг, как будто внезапно стала уязвимой в неизвестном мне смысле.

"Откуда вы знаете?"

Он покачал головой из стороны в сторону, и его лицо улыбнулось мне. "Я знаю. И знаю еще больше", - сказал он. Он называл биографические факты, словно читал с картотеки: год и место моего рождения, имя отца, имя брата, школьное образование, перенесенный приступ скарлатины. Мгновение я наполовину ожидал, что он перейдет к рассказу о чудовищных преступлениях, которые я совершил в каком-то другом, не запомнившемся мне образе. Сейчас это кажется глупым, ведь я знаю, что получить такую информацию, как у него, было проще простого, но тогда я чувствовал, что ради какой-то темной цели, о которой я не мог догадаться, миллион пар глаз следили за мной с самого рождения.

Я не хочу ни обыгрывать этот эпизод, ни драматизировать свою реакцию на него, ибо то, что последовало за ним, было нелепым эмоциональным антиклизмаксом. Во время следующего разговора Филиппа со мной, состоявшегося примерно через неделю, его попытки наладить непринужденное знакомство рассеяли мое ощущение таинственной подавленности и незащищенности. Я не отреагировал на дружеское общение по имени. Не зная его фамилии, я избегала называть его как-либо иначе. Думаю, моя формальная вежливость расстроила его, и именно поэтому, в каком-то отчаянии во время третьей или четвертой встречи, он достал папку с очень подробными непристойными фотографиями и протянул их мне. Он рассмеялся, когда с притворной непринужденностью (я чувствовал, что он пристально смотрит на меня) спросил, видел ли я раньше что-нибудь подобное. И разве это не были самые забавные вещи, а одна - особенно, потому что он знал девушку, изображенную на

ней, - студентку художественной школы. По его словам, у него есть несколько "восхитительных" друзей, и он хотел бы познакомить меня с ними. Он сказал, что среди них есть одна "милая брюнетка, родом из Джорджии, но полностью, и я имею в виду полностью, эмансипированная" и без предрассудков. По его словам, они быстро выстроились в очередь, как только стали по-настоящему свободными, и это лишь показывает, что произошло бы с расовой проблемой по всей стране, если бы не сила и давление реакции. "Их просто не было бы, если бы все зависело от женщин".

Думаю, Филипп бежал "с опережением графика". Или, если перефразировать, он закинул свою сеть не в тот момент, когда начался прилив. В любом случае, весомости ему не хватало. Позже я узнал, что потенциальный улов был достаточно велик: молодой студент колледжа в очень толстых очках, политик с французским происхождением, обладавший значительной властью в местных рабочих кругах, и очень богатая вдова лет тридцати. Уже тогда вдова делала щедрые взносы в ячейку, а несколько лет спустя она стала известна на всю страну как сторонница коммунизма. Были и другие, но я не знаю, как к ним обращались и сколько из них было поймано. Возможно, Филипп и те, кто присоединился к нему в последующие недели, плохо справились с заданием. По крайней мере, этому удалось уйти. Подход к моему интеллекту лежит не через мои гонимости.

Возможно, один из подходов - через любопытство, и именно любопытство побудило меня отправиться с Филипом туда и сюда. Я хотел посмотреть, что это за люди. Я слушал коммунистов из мыльниц на улицах Нью-Йорка, но они не вызывали во мне ничего, кроме смутных догадок по поводу вопросов, которые муссировались в те дни. Что не так с нашим правительством? Неужели богатые и влиятельные люди думают только о том, чтобы получить больше власти и извлечь больше выгоды из эксплуатации рабочего класса? Что должно делать правительство? Что оно может сделать? Что делал Гувер, чего не должен был делать, и наоборот? Я испытывал неглубокое презрение к эмоциональности, необоснованной горечи и бездейственному гневу радикалов из "мыльницы".

Не знаю, потому ли, что они представляли собой сплоченную пеструю массу белых американцев, негров, итальянцев, португальцев и французов, но мне больше нравилась наглая корысть радикальных рабочих, которых я видел на закрытых (какое зловещее слово!) фабриках с пустыми стенами на юго-западе Провиденса. Но и с ними я не мог себя отождествить. Они говорили о насилии и совершали насилие (как однажды, когда полиция пыталась их разбросать) в непримиримой, бесстрастной манере, которая меня отталкивала. Я никогда не верил в насилие. Я слышал, как негры выступают за него. Однажды я знал о группе негров, которые организовали организацию, чтобы убивать белого человека каждый раз, когда линчуют негра. Они называли себя "Квик Куре Клаб, Инк.", мрачно пародируя Ку-клукс-клан. У них должны были быть отделения в каждом главном городе Юга. Хотя среди негров ходили слухи и до сих пор широко распространено мнение, что жестокое и нераскрытое убийство констебля в округе Грин, штат Миссури, в 1930-х годах было делом рук черного КKK, я думаю, что эта организация так и не начала свою деятельность.

Я также не мог отождествлять себя более чем поверхностно с группой интеллектуальных радикалов в кампусе, с которыми меня свел общий интерес к писательству. Они были полны энтузиазма и благих намерений, но вполне невинны и безобидны. Они знали гораздо больше о Джоне Риде, Хейвуде Брауне и Г. Л. Менкене, чем о Марксе, Ленине и девиационизме Троцкого. Они знали кое-что и о Ницше, и с вытаращенными глазами изучали кое-что о Фрейте. Но "воля к власти" немецкого философа не была переведена в политические термины, а "Цивилизация и ее недовольство" Фрейда, которая только недавно появилась в этой стране, была просто мерилom, которым они измеряли свои воображаемые

личные проблемы против самодовольства и консерватизма. Они были бунтарями молодости. Они много говорили, но то, что они говорили, было в основном блестящей чепухой, которая имела не больше отношения к реальному разрушению мостов, через которые прошли их родители, чем пиротехнический спектакль в безлунную ночь. Только один из них стал писателем - юмористом, причем хорошим. Его последняя книга сейчас лежит передо мной. Чувствительные, талантливые, некоторые из них состоятельные, они оказались консервативными профессорами колледжей, инвестиционными брокерами и юристами, которым не составило труда примириться с тем, что есть.

Мои проблемы отличались от их. Влечения - самосохранение, тревога, тщеславие, секс, "полная разрядка сил", о которой говорит Ницше, - были значительно изменены моей негритянскостью. Признаваться в этом неловко, но уже тогда я понимал, что это правда. Например, самосохранение не было гальваническим побуждением ни у меня, ни у других негров, которых я знал. Я уже писал в другом месте, что пять моих ближайших знакомых покончили с собой в течение шести красных и ужасных лет. Гордость и тщеславие были чрезмерными. Поскольку считалось, что негры сексуально нескромны, я демонстрировал строгий аскетизм, наказывая плоть самым неестественным для юности образом. Я не понимал, что меня принуждают к узкому эгоцентризму, к нездоровому увлечению собой, которое только счастливицы способны сублимировать - и то лишь частично - в групповую заботу и, если повезет, в более широкую социальную заботу. Не стоит говорить, и уж точно не в порядке извинения, что это не полностью вина негра. В этом виновата и американская жизненная ситуация - не то случайное зло, не то комплекс безличных принуждений, - над которой ограничен как индивидуальный, так и групповой контроль меньшинств.

Группа интеллектуальных радикалов в университетском городке расширила меня. Они стимулировали мое чтение, мое воображение, мои симпатии. К чтению Джеймса, Сантаяны и ДеУнамуну, с которыми меня познакомил профессор Дюкасс, я добавил Ницше (особенно "Так говорил Заратустра"), Маркса и многое другое, с чем я не столкнулся бы в обычной рутине обучения в аспирантуре.

Но я не был достаточно развит, чтобы воспринять то, что предлагали Филипп и его окружение. Если бы их предложения оставались на уровне первых вечеринок, которые я посетил вместе с Филиппом, все могло бы быть иначе. Я могу воспринять любое количество разговоров, и в их скоротечных беседах проскакивали фразы, которые, взрываясь, как петарды, привлекали мое внимание: "политическое государство" (в отличие от экономического и социального - тогда они проводили такие различия); "всемогущее государство"; "ответственность в областях культурной автономии". Конечно, у меня были идеи относительно значений, но ничто из сказанного ими не складывалось в понятия. Меня не побуждали ни к согласию, ни к несогласию. Я просто слышал.

Однако на последующих встречах я начал слушать и понимать, но не то, что от меня ожидали. Скорее наоборот. Я начал понимать, что они говорили как люди, кровно заинтересованные в демократической катастрофе. Их аргументы основывались не на силе и действенности коммунизма, не на его созидательной и оздоровительной деятельности, а на слабостях демократии. Они радовались экономической депрессии, потому что видели в ней начало полного краха демократии. Идеалом, говорили они, является безопасность и свобода (и я с этим соглашался), но при "вашей системе" - они обращались непосредственно ко мне и к Хакели, молодому, но уже измученному подмастерью серебряных дел мастера, - "нет ни того, ни другого". Они были слишком умны, чтобы сделать капитализм и демократию синонимами, поэтому я мог судить только о том, что это приравнение одного к другому было намеренной попыткой запутать.

И я был сбит с толку, что проявилось в детском раздражении от того, как они с каким-то холодным пылом указывали на каждую слабость, каждый провал, каждый случай коррупции, дискриминации и несправедливости, и как они влияли на человека, особенно на негра. Вывод был очевиден: во "всемогущем государстве", в "государстве-службе" (которые приравнялись друг к другу) таких вещей не будет. Но когда я потребовал доказательств их умозаключений, Филипп и интеллектуальные лидеры ячейки удалились в насмешки и вызовы и не были достаточно проникательны, чтобы понять, как опасно они угрожали моему самолюбию. Сама по себе идея демократии не была мне тогда особенно дорога, но я возмущался сомнениями, брошенными на мои унаследованные представления о ней. Если уж на то пошло, я обижался на демократию за то, что она оставила меня и саму себя такими незащищенными; но я ненавидел коммунизм за то, что он поставил меня в положение обороняющегося. Мой гнев и разочарование переходили от одной встречи к другой, потому что, хотя их аргументы были в основном слабыми, у меня не было на них ответов. После пятой встречи я был уверен, что с коммунистами и всеми их делами покончено.

Но я не ожидал, что Филипп и Хони будут так увлечены прозелитизмом. Последняя была одной из пяти женщин в ячейке, которых я регулярно видел на собраниях. "Милашка" - это было прозвище ячейки, и оно подходило только к ее внешности. Среди коллег в городской больнице, где, как она мне сказала, она работала техником, ее знали как Бранку. Фамилию ее я так и не узнал. У нее были мягкие медово-светлые волосы, уложенные в длинную прическу, так что когда она поворачивала или опускала голову, волосы волной падали ей на лицо. Это было хорошее лицо, не красивое и не украшенное, но хорошо сложенное и сильное, с бледно-желтыми глазами под квадратными бровями. Она много говорила, причем довольно резким и дерзким тоном, и много смеялась, причем тоже дерзко. Казалось, что и смех, и разговоры исходят из самой глубины. Но при этом чувствовалось, что в ее словах есть глубина. Иногда было так же трудно уследить за хаотичным ходом ее мыслей, как и за ее беспокойными, жизненными движениями.

Филипп и Хани пришли ко мне в дом однажды вечером после того, как я дважды не явился на собрания. Их приход был неловким, потому что моя хозяйка, хотя она родилась и прожила всю жизнь в Новой Англии и считала, что это уже само по себе какая-то победа или заслуга негра, - моя хозяйка относилась к белым людям с меньшим подозрением, чем к неграм, которые с ними общаются. Даже если бы они этого захотели, мои гости не смогли бы войти, поэтому я отправился с ними в две неопрятные комнаты, которые Хони занимала над деликатесной лавкой в самом старом и далеко не самом лучшем районе города. Нас было только трое, и за бутылкой очень кислого вина, которое называлось "даго красное", они расспрашивали меня о моих отлучках. Я сказал им, что готовился к экзаменам в середине года, что было правдой, но в любом случае я должен был считать себя обязанным присутствовать на каждом собрании ячейки?

Они с минуту смотрели друг на друга. Затем Хани восхитительно рассмеялась и сказала: "Конечно, нет", а Филипп старательно прохрипел в ответ. На собраниях ячеек Филип был центром, но здесь все было в руках Хани. Она уводила разговор во всевозможные тривиальные русла. Беспокойно раскачиваясь в кресле, запрокидывая голову, скрещивая и распуская ноги, Хони говорила и говорила. Ее энергичность и вино бодрили. Она была нецензурной и окончательной в своих суждениях о людях. Она в шутку обвиняла Филипа в том, что он пытается привести в камеру "глубоких ослов", "абсолютно неприкасаемых неучей", как, например, некий Сидни, о котором она упоминала и который, по ее словам, был "перевоспитанным извращенцем". О, она была уверена в этом! И Фэй Харистон (это была богатая вдова), которая "каждый день прыгала в бочку с перекисью" и которая, несмотря на

все свои попытки проявить женственность, показала, что она "обусловленный гермафродит". Задорно смеясь, Хани поинтересовалась, чем занимается Филипп, вербуя людей для собственного удовольствия? Так вот что он делал из камеры, кружка лесбиянок и либертинов?

Не смущаясь и не улыбаясь, Филипп лишь покачал головой, и через некоторое время Хани перешла к чему-то другому. Атмосфера была очень непринужденной, очень дружеской, и мне было жаль, когда Филипп объявил, что ему пора уходить. Это был мой сигнал, чтобы тоже уйти, и я встала.

На мгновение я замешкалась, прежде чем Филипп сказал: "О, но я вернусь! Жди меня здесь". Я посмотрел на Милашку, но она уже возвращала шляпу, которую я подобрал. Мне показалось, что она насмешливо улыбнулась Филиппу.

О чем мы с Милочкой говорили после ухода Филиппа, я не знаю. На следующий день в своем блокноте я записал следующее.

"Хотел бы я привести доводы в пользу своей моральной правоты, но не могу. Вчера вечером я все время думал о возможных последствиях. Когда Милашка пришла и села на диван слишком близко ко мне, я вспомнил все, что слышал о "салонных шлюхах" - что они смелые, наглые и не терпят дискриминации, и что они обязательно больны. До прошлой ночи мы с ней не перекинулись и десятком слов, так что никакой привязанности ко мне не было. Была только страсть, и даже она могла быть не настоящей. Мне наполовину хотелось, чтобы это было так, или чтобы я мог так думать. Мне казалось, что ее цель - вызвать во мне страсть, пока она держит себя в стороне и контролирует. Она дрожала, прижималась головой к моему плечу и впивалась ногтями в мое бедро, но я думаю, что все это было понарошку. Я не знаю, о чем мы говорили в промежутках, да и говорили ли мы вообще".

"Но если она была вне этого, то и я был вне этого, и мне все время казалось, что у Милочки есть какие-то скрытые мотивы и что она пытается реализовать их слишком дорогой ценой. Я знал, что она хочет, чтобы я вступил с ней в сексуальные отношения, и знал также, что не хочу, не могу, не смею. Не думаю, что она вообще искушала меня; она просто пугала меня. Я не понимал, как кто-то может пойти на такое ради результата, который в конечном итоге не имеет почти никакого значения. Конечно, я не могу считать себя *настолько* важным для коммунистов. А если предположить, что это не ее причина? Тогда что? Только секс. Я не могу так доверять белой женщине. Как бы охотно белая женщина ни отдавалась цветному мужчине, если ее узнают, она будет кричать об изнасиловании. Вчера вечером я представлял себе газетные заголовки, подобные тем, что видел много раз, и думал, что они относятся ко мне: Черный грубиян. Прошлой ночью я поступил правильно, хотя, возможно, и по неправильным причинам".

Я убежал. Хотя я знал, что поступил правильно, мне было стыдно снова видеть Хани и Филиппа, ибо я убеждал себя, что поступил наивно и трусливо. В маленький ресторанчик у подножия холма я больше не возвращалась. Однажды я получил записку от Филиппа, однажды он - или кто-то очень похожий на него - спрашивал обо мне у моей хозяйки, но я не видел ни его, ни Хани, ни кого-либо из тех, кого я обычно видел в камере. Я уверен, что Хани, смеясь с наглой дерзостью, говорил обо мне как об одном из "неприкасаемых неучей" Филиппа и довольно быстро забыл меня.

Но я не забыл коммунизм ни тогда, ни позже. В Нью-Йорке в следующем, 1933 году, партия была весьма модной среди моих знакомых, некоторые из которых относились к ней серьезно. Можно было быть уверенным, что среди гостей на гарлемских светских раутах среднего и высшего класса будут белые люди и что это будут признанные коммунисты или, по крайней мере, попутчики. Говорили, что некоторые из них хорошо известны в *авангардных* и эзотерических кругах и в театре, но я никогда не слышал о большинстве из них, и я склонен думать, что репутация, которой они пользовались в Гарлеме, была своего рода защитой в глубине души от утверждения, что единственные белые, с которыми негры могли общаться в обществе, были периферийными людьми, никем, бродягами. Белые, которых я встречал на таких вечеринках, казались средними интеллектуальными типами. Меня поразило то, что они не говорили о коммунизме, а создавали впечатление жизни на более высоком и свободном уровне, чем позволяла американская демократия. Атмосфера, которую они создавали, была легкой и утонченной, с высоким содержанием сексуальности, которой, как говорили, пользовались почти все. Никто не беспокоился о том, чтобы шепотом рассказывать истории о связях между белыми женщинами и негритянскими мужчинами, негритянскими женщинами и белыми мужчинами. Их принимали без шока, а актеры в этих маленьких драмах, казалось, играли свои роли без смущения и даже с естественной грацией, которая меня восхищала.

Я не думаю, что кто-то из коммунистов, которых я встретил в этих обстоятельствах, был серьезно политически настроен. Конечно, они не были партийными работниками. Они не произносили речей со стремянок, украшенных флагами, прислоненных к бордюрам, как это ежедневно делали многие коммунисты перед пунктами "Домашней помощи", разбросанными по городу. Они не устраивали собраний, не состояли в инструкторских ячейках и не пытались никого индоктринировать. Они не принадлежали к "бригаде испачканных рубашек, грузчиков и кофе". Мои знакомые негры не стали бы принимать их в своих домах, если бы они были таковыми. Коммунизм был для них всего лишь розой, под которой они занимались более приятными делами.

В те дни раздавалось много наспех напечатанных коммунистических листовок. Мне казалось, что я получаю их все; я также читал их. Они были рассчитаны на негров среднего класса - профессионалов, интеллектуалов, студентов. Лишь полувзглядом можно было увидеть, что партия проводит кампанию по привлечению потенциального образованного негритянского руководства. Рабочие массы были разочарованием для коммунистов, которые в любом случае использовали неправильные методы для их привлечения. Негритянский труд был далеко не готов к пролетарской революции. Их интересовала не классовая, а расовая борьба. Негритянские рабочие массы хотели, чтобы к ним относились, прежде всего, как к особому случаю. Они хотели гарантий занятости. Они хотели, чтобы их подняли до уровня белых рабочих, прежде чем они смогут вместе с ними идти к большой коммунистической цели. Сначала равенство, а потом интеграция. Кроме того, негритянский труд относился к коммунизму с тем же подозрением, что и к социализму и профсоюзному движению, - с подозрением, что его используют, а не помогают, и используют для установления не совсем понятного порядка вещей.

Поэтому новый набор должен был осуществляться среди класса, представителем которого я был. Коммунисты были полны решимости не повторять одну и ту же ошибку дважды. Равенство, земля и свобода: Программа освобождения негров", выпущенная Лигой борьбы

за права негров в 1933 году, формулировала это следующим образом: "Задача, которая стоит перед ... перед партией в организации негритянских рабочих и сплочении их для повседневной классовой борьбы ... бок о бок с белыми рабочими, не является легкой. Негр не проявляет воинствующей оппозиции к коммунизму, но он хочет знать, как он может улучшить его социальное положение, какое отношение он имеет к распространенной практике линчевания, лишения политических прав, сегрегации, дискриминации в промышленности..... Негр достаточно революционен в расовом смысле.....". Короче говоря, у него расовое сознание, и этого было достаточно, чтобы сконцентрироваться на нем. В конце 1920-х - начале 1930-х годов коммунисты получили откуда-то хороший совет. Они также воспользовались двумя обстоятельствами.

Дело Анджело Херндона все еще бурлило и кипело, а дело Скоттсборо в 1933 году достигло очередной своей громкой кульминации. В те дни была создана Международная рабочая защита, и я познакомился с Уильямом Л. Паттерсоном, ее секретарем. После Джеймса Д. Форда, кандидата в вице-президенты от Коммунистической партии в 1932 году, Паттерсон занимал самый высокий пост среди всех негров в партии. Но на меня он не произвел впечатления. Он казался невысокого интеллектуального уровня, хотя был очень амбициозен и смел. Более сильное впечатление на меня произвел известный и увлекательный негритянский журналист. Он только что вернулся из России (и, полагаю, прошел период индоктринации), когда я встретил его за кулисами театра на Четырнадцатой улице, где шел спектакль "Стивидор". Я помню, как он сказал мне: "У нас, негритянских писателей, есть прекрасная возможность и непреложный долг способствовать революции, которая уничтожит касты, классы и расы". Как лестно! "Мы, негритянские писатели" - поставить меня в один ряд с Лэнгстоном Хьюзом, Клодом Маккеем, Джин Тумер, Рудольфом Фишером, Каунти Калленом и самим собой, все они талантливы, все они хорошо известны. Обо мне он не мог и слышать - на тот момент я написал и профессионально опубликовал всего один рассказ. Но негритянский художественный и литературный "ренессанс" еще не угас настолько, чтобы близкие к нему люди заметили, что он угасает, и время от времени я, совершенно неизвестный студент, грелся в этом искусственном свете, как бездомный нищий, греющийся у тротуарной решетки.

Но коммунизм излучал свет иного качества. В нем не было комфорта. Такой же жесткий и откровенный, как свет в хирургической операционной, он не отбрасывал уютной тени, в которую можно было бы погрузиться в минуты спокойного размышления, казавшиеся мне такими же необходимыми, как еда и питье. Коммунизм не допускал игры индивидуальной мысли и инициативы. В нем не было тепла. Или, возможно, это неправда, поскольку сильная жара и сильный холод вызывают одну и ту же первичную реакцию - сморщивание, высыхание, пока живое существо не потеряет свою индивидуальность и не станет единым целым с жарой или холодом. Я видел нечто подобное в Нью-Йорке и был потрясен этой реакцией. Или, возможно, это тоже неправда. Возможно, меня потрясло осознание того, что есть люди, которые чувствуют себя настолько беспомощными, выброшенными из американского общества и демократических расчетов, что они могут с жадностью присосаться к холодной груди коммунизма. Одна из вещей, которую я не мог понять, - это беспрекословное подчинение контролю.

Я не хочу сказать, что у меня сложилось впечатление, будто я встретил много ярых негров-коммунистов. Их было не больше полудюжины. Но с одним из них я тесно общался почти семь месяцев. У него была комната рядом с моей в том месте, где я жил, и у нас была общая ванна. Он был вором. Он зарабатывал на жизнь не таким способом. По его словам, он занимался складом и доставкой одежды в швейной фирме и был мелким чиновником в

местном профсоюзе то ли дальнотойщиков, то ли швейников, не знаю, в каком именно. Он был вором исключительно ради выгоды партии. Это была его партийная работа и его долг, и он слепо служил ей. Это была странная работа. Через более или менее регулярные промежутки времени он крал куски ткани - "костюмы", как он выражался, - и хранил их в своей комнате, пока кто-нибудь, редко один и тот же человек дважды, представившись каким-то заранее оговоренным способом, не вступал в контакт и не освобождал его от товара. Он так и не узнал, что с ними стало в итоге.

Любопытно, что это была почти единственная информация о себе, которую Кларк (будем называть его так) когда-либо давал добровольно, и, конечно, я не знал этого поначалу. Что я узнал о Кларке - но только после того, как узнал, - так это то, что он был родом из Пенсильвании и окончил среднюю школу в одном из городов этого штата. Когда было организовано агентство ССС, он подал заявление о приеме в одну из рабочих групп, но ему было отказано, поскольку предполагалось, что средняя школа дала ему призвание, с помощью которого он мог бы зарабатывать на жизнь. Оказавшись в условиях депрессии, без денег и, как я понял, без устойчивых семейных связей, он некоторое время дрейфовал - в Питтсбург, в Филадельфию и, наконец, в Нью-Йорк. Это был суровый молодой человек лет двадцати четырех или двадцати пяти с жестким лицом. По его внешности и бесстрастной манере говорить нельзя было заподозрить, что в нем горит неугасимое пламя фанатизма. Он плохо говорил. Голос у него был грубый, язык слегка толстоват, а языком он владел очень слабо. Однажды, когда мы уже достаточно хорошо узнали друг друга, он сказал.

"Хотел бы я говорить, как ты", - сказал он. Я уже собирался возразить, что я не модель, как он добавил: "Или как Джеймс Форд". Это было для меня полным разочарованием. Я видел и слышал Джеймса Форда, когда он выступал по Восточному побережью от Лиги борьбы за права негров, и не очень-то о нем думал. Он казался по сути невежественным, как попугай, бегло повторяющий фразы, которым его тщательно обучили. Его манеры казались грубыми.

"Джеймс Форд?"

"Если бы я умел говорить, как он, то, возможно, смог бы быть там, где он сейчас", - сказал Кларк.

"И где же он?" Я искренне хотел знать. Я ничего не слышал о нем со времен его фарсовой кампании в качестве кандидата в вице-президенты от Коммунистической партии.

"Я не знаю, но думаю, что он в России", - сказал Кларк.

"Вы хотите поехать в Россию? Но зачем?"

"Что эта страна сделала для меня? Зачем я здесь?" - бесстрастно спросил он. "Ниггер, в которого каждый может плюнуть. В России я мог бы стать мужчиной". Это тоже прозвучало без гнева или горечи, и я мог его понять. Он идиоматически выразил простое желание обрести достоинство и самоуважение. Негры так часто слышали эту фразу, что можно было забыть о глубокой ране отрицания, которую она закрывала, как струп.

"Я знаю одного человека, который уехал в Россию", - сказал я. "Видимо, ему понравилось. Но он никогда не возвращался".

"Он все правильно понял. Я бы тоже не вернулся, если бы когда-нибудь поехал".

"Мне это не нравится", - сказал я. "Ты слушал парней на стремянке, красных, через дорогу".

Кларк посмотрел на меня долгим, медленным взглядом, но в нем не было ничего, что я мог бы обнаружить, - ни догадок, ни обиды. "Я коммунист", - сказал он.

Я рассмеялась от неожиданности и смущения, и, по-прежнему не сводя с меня пассивных глаз, он повторил: "Я коммунист", - прямо.

Сказать было нечего, и я промолчала, а молчать с Кларком было все равно, что ожидать, что с тобой заговорит стена. Вскоре он ушел в свою комнату. На следующий день, когда мы встретились, я почувствовала легкое смущение, но он, похоже, не заметил, и это чувство вскоре прошло.

Хотя тогда я этого не знал, меньше чем через месяц я разговаривал с Кларком почти в последний раз. Однажды вечером он пришел ко мне в комнату, как это часто бывало, но на этот раз он флегматично объявил, что у него неприятности. Он не выглядел и не звучал как мужчина, попавший в беду, и я мог подумать только, что у него проблемы с девушкой - хотя девушки никогда не были темой наших разговоров.

"Что за неприятности?" поинтересовалась я.

Полагаю, Кларку не хватало определенной чувствительности, хотя я бы не назвала его черствым. Думаю, дело было не в том, что ему было все равно: просто он не мог оценить, какое влияние его слова оказывают на других.

"Я вор, и я думаю, что они меня подозревают", - сказал он.

Я, должно быть, сказал что-то вроде "Ну, продолжай" или "Хватит шутить", но я знал, что у него нет чувства юмора и он совершенно не способен шутить. Я посмотрел на него. Он, казалось, решил, что я его не услышал. "Я вор, и я думаю, что они меня подозревают", - повторил он. И когда он провел меня в свою комнату и показал сундук с плоским верхом, наполовину заполненный кусками ткани, я ему поверил.

"Но что ты собираешься делать с этими вещами? Если они заподозрят тебя и придут..."

"Я собираюсь избавиться от них", - стоически сказал он. "Я избавлюсь от этого сейчас, через несколько минут". Он запихивал свертки ткани в два потрепанных саквояжа.

"Что вы собираетесь делать? Как ты собираешься от него избавиться?"

На этот раз он не ответил, а смахнул с кровати саквояж, пронесся мимо меня и вышел в коридор.

В следующий (и последний) раз я разговаривал с Кларком в тюрьме Девятого участка. Его арестовали в субботу. В воскресенье мне позвонил репортер газеты, освещавший этот участок, и сказал, что Кларк хочет меня видеть. Мне это не понравилось. Меня мучил страх, что я каким-то образом окажусь замешанным в его неприятности. Я пошел с неохотой. Сержант, как мне показалось, подозрительно посмотрел на меня, когда я попросил позвать Кларка, но, возможно, это была просто моя нервозность, потому что он позвал другого офицера, который, взяв ключ, провел меня через несколько дверей и вдоль ряда пустых камер. Кларк находился в последней камере на ярусе, и он, должно быть, услышал наше появление, потому что я застал его в ожидании. Увидев меня, он жестко улыбнулся, но подождал, пока полицейский уйдет, прежде чем заговорить.

"Они меня поймали", - сказал он.

Боюсь, мое настроение было не из приятных, и я не был разговорчив. У меня не было желания вытягивать его. Если ему есть что сказать мне, подумал я, то он, черт возьми, скажет это и без моей помощи. Он по-прежнему жестко улыбался.

"Они меня поймали", - повторил он.

"Понятно", - сказал я. "И что теперь?"

Он сказал, что его задержали для предварительного слушания в понедельник. Затем, как будто это его не касалось - как будто он говорил о ком-то другом, совершенно ему незнакомом, - он рассказал мне о своей работе на коммунистов так, как я описал это выше. Я не мог этого понять. Я уставился на него, потому что то, что он говорил, казалось безумием, особенно если это было сказано таким спокойным и бесстрастным голосом.

"Но почему?" спросил я.

"Это была моя работа", - сказал он, как будто это объясняло все до конца; как будто это полностью удовлетворяло требования моего вопроса.

"Зачем вы послали за мной? Я ничего не могу для вас сделать", - сказал я. "Кто-то сделал из вас дурака. Пусть они сами о тебе позаботятся".

"Вы все не так поняли", - сказал он, медленно покачивая головой.

"Вы все неправильно поняли. Ты в тюрьме", - язвительно сказал я.

"Но я не дурак, если только не делаю все с выгодой для себя. И я не хочу, чтобы за меня кто-то присматривал".

"Ну, если бы ты так поступил, это пришлось бы делать кому-то другому".

"А что они могут сделать? Ты хочешь, чтобы я доставил им неприятности?"

"Вы имеете в виду коммунистов?"

"Мою инициативную группу", - сказал он. "Они ничего не могут сделать. Они и не должны ничего делать".

Я уставился на него с еще большей силой. "Они знают и даже не внесут за вас залог и не найдут вам адвоката?" Мое возмущенное легкоеверие было для него столь же непонятным, как и моя досада.

"Я же говорил вам", - сказал он.

"Ты хочешь сказать, что так и должно быть? Вы знали, что если что-то подобное случится, ваша инициативная группа ничего не предпримет?"

"Я не собираюсь больше никого втягивать в это дело", - твердо сказал он.

"Их не надо втягивать", - сказал я и, кажется, повысил голос в отчаянии. "Они должны сами прийти".

"Вы ошибаетесь", - сказал он.

"Но ведь это ты сидишь в тюрьме".

Я не мог поверить, что то, что происходит с ним, может случиться. Конечно, я слышал истории о строгой партийной дисциплине, о приказах членам партии делать то, что никто в здравом уме делать не станет, но я не верил таким историям, хотя они были распространены, а также совпадали с газетными сообщениями о чистках, которые тогда происходили в России. Я оставался при своем мнении. Но эта история с Кларком была реальной. Он был человеком, которого я знал, и это происходило с ним.

"Послушай, - сказал я, - почему бы тебе не быть благоразумным? Почему бы тебе не..."

Он покачал головой, прежде чем я успела закончить. Казалось, я ничего не мог сказать, чтобы пробудить в нем истинное осознание того, в каком положении он оказался. Возможно, в глубине души у него был комплекс мученика, но я не видел в нем ничего из того, что ассоциировалось у меня с мученичеством. В нем не было ни огня, ни достоинства, ни благородства, которые, как мне казалось, присущи этому образу. В нем не было даже непокорности и бунтарства - а если они и были, то Кларк скрывал их под слоями каменной сдержанности, сквозь которую невозможно было проникнуть. Кроме того, мне казалось, что страдать в одиночку за какой-то принцип - значит подозревать этот принцип.

А он страдал в одиночестве. Я не стал навещать его в Томбсе, куда он был помещен после предварительного слушания, а в день суда перерыл четыре газеты, прежде чем нашел в одной из них короткое объявление: Негр осужден за кражу.

Я снова увидел его на суде. Оно длилось менее двадцати минут. Кларка, в том же помятом коричневом костюме, который он носил в тюрьме, ввели в зал. Он выглядел слегка осунувшимся, но, думаю, я был единственным из двадцати или тридцати зрителей, кто мог это знать. Казалось, никто не проявлял интереса к четвертому делу в повестке дня. Обвинение было зачитано. Назначенный судом адвокат признал себя виновным. Невысокий коренастый мужчина был приведен к присяге и дал показания о том, что в течение нескольких месяцев пропало столько-то и столько-то кусков ткани; что детективы компании вышли на их след и что наконец в марте они нашли "своего человека". Затем показания дал частный детектив, потом - складской клерк. Других свидетелей не было. Кларку было приказано встать. Судья огласил приговор - пять лет тюрьмы. Кларк оглядел зрителей, но я не заметил никаких изменений в его выражении лица. Его подтолкнули к выходу. Я покинул зал суда.

10

Как способность мыслить и стремление к знаниям, так и инстинкты личной свободы и, в пределах разумного, власти над своей судьбой являются атрибутами человеческого разума. У одних они сильнее, чем у других. Там, где они ослаблены катастрофой - например, длительным спланированным насилием, как во время войны, или широкомасштабной социальной дезорганизацией, как во времена великих экономических кризисов, - инстинкты могут быть извращены или даже полностью уничтожены. Опасность такого извращения (которое действительно развилось в некоторых странах Европы) существовала во время великой американской депрессии, когда росло ощущение, что только у Франклина Д.

Рузвельта есть ответы и что все зависит от него. Американский народ был готов отдать свой разум и контроль над своей судьбой.

Именно искажение или атрофию этого инстинкта коммунисты надеялись найти в американском негре. У них были веские основания для таких надежд, и они не стеснялись их выражать: "Особенно интенсивная эксплуатация и тяжелый гнет, которым подвергаются миллионы негров в Америке, делают необходимым для *партии направить свои лучшие силы и максимальные ресурсы на то, чтобы стать признанным лидером и защитником... негров*"^[7] (курсив мой.) Интенсивная эксплуатация и тяжелый гнет были достаточно правдивы. Но было нечто, чего коммунисты не принимали в расчет; нечто психическое и, возможно, нездешнее, о чем не задумывались даже те, кого они надеялись увлечь. Это была не хваленая стойкость негров, хотя и она тоже. Скорее, это было то, что я могу назвать только духовной сплоченностью демократии. Эта сплоченность органична для тонко сбалансированной идеологической структуры, которой является демократия, и это тот атрибут, который делает невозможным отделить судьбу Америки от судьбы самой демократии.

Ведь демократия - это не столько форма правления, сколько образ жизни, а принципы - свобода, равенство, справедливость, на которых основан этот образ жизни, - столь же универсальны, как идея Бога. И я хочу сказать, что, несмотря на "тяжелое угнетение" и "интенсивную эксплуатацию", американский негр верил в эти принципы. Именно эта вера в принципы и невозможность когда-либо отделить их в сознании негра от демократии и Америки ставили в тупик коммунистов, которые не могли понять, почему ненависть цветного населения к дискриминации, сегрегации и всем неравенствам не привела естественным образом к ненависти к демократии. Но это было все равно что ожидать, что они возненавидят Бога, потому что проповедники иногда бывают негодяями.

Я также не думаю, что все это настолько заумно и метафизично, как кажется. А если и так, то следует помнить, что американская демократия сама по себе является метафизикой, сочетающей в себе субъективную истину ("неотъемлемые права человека") с моральными абстракциями ("свобода и справедливость для всех") и мистическими понятиями ("воля народа"), которые, по общему признанию, не могут быть достигнуты всеми институтами, когда-либо созданными человеком. Она, эта демократия, "непрактична". Именно это осознали и поняли коммунисты. Они делали это трижды в период с 1918 по 1942 год, и каждый раз в условиях кризиса, когда им казалось, что материальные ценности, которые они хотели заменить целью борьбы, усиливаются самым их отсутствием. Термины, которые они использовали, тоже были чисто материалистическими, и они применяли их в контексте, который не ограничивался американским континентом - и это была еще одна ошибка. "Американские негры-коммунисты, - говорили коммунисты, - являются историческими лидерами своих товарищей в Африке, и подготовка их к нанесению самых сильных ударов по мировому империализму в качестве союзников мирового рабочего класса - достаточное оправдание всего времени и энергии, которые Рабочая (коммунистическая) партия должна посвятить мобилизации на революционную борьбу негритянских рабочих в американской промышленности."^[8]

Затем они попытались уничтожить духовные ценности демократии, искоренив христианство. Они не проводили полномасштабной кампании безбожия среди американских негров, но негритянский поэт Лэнгстон Хьюз, отправившийся в Россию в качестве гостя государства, вернулся явно бездуховным и опубликовал поэму "Прощай, Христос", и этот ужасающий факт ни для кого не остался незамеченным. По большому счету, негры не считали, что Христос и религия готовы к отмене, и уж точно не раньше, чем они будут испробованы.

Действительно, их эгалитарные устремления уходили корнями в библейские предписания. Поэтому чистка священников, разгром иконов и разрушение церквей, о которых негры читали в американской прессе, стали факторами, по которым Коммунистическая партия не смогла заручиться поддержкой черных масс.

Добавьте к этому еще одно обстоятельство, и вся история (хотя и слишком упрощенная) этого провала будет рассказана. Добавьте патриотизм. В некоторых искушенных негритянских кругах вызывает веселый смех тот факт, что ни один негр никогда не был предателем Соединенных Штатов. Но смех не отменяет факта. Возможно, больше, чем другие американские меньшинства, негры были склонны к предательству. Кларк выразил это: "Что эта страна когда-либо сделала для меня?". И, конечно, негры до и после него задавали тот же вопрос. Это чисто риторический вопрос. Кларк не осознавал этого, но Америка, ее идеалы, ее направление, ее основной дух (ибо мы снова должны иметь дело с абстракциями) дали ему веру в индивидуальную ценность и достоинство себя как человека. Дюбуа, я думаю, был прав, когда в свои молодые, добрые дни сказал: "Во-первых, это наша страна: мы работали для нее, мы страдали за нее, мы боролись за нее... мы достигли на этой земле нашего наивысшего современного развития, и ничто, с человеческой точки зрения, не может помешать нам в конце концов достичь здесь полной зрелости нашей мужественности". Наши ошибки остаются ошибками, [но] мы не будем торговаться с нашей верностью".

Я достаточно циничен, чтобы добавить кислую ноту. Эта лояльность частично проистекает из страха изгнания. Это исторический страх, восходящий к колониционному движению в XVII веке. Недавно негры видели, как изгоняют другие меньшинства в других странах, и они знают, что это можно сделать. Но у американских негров нет Палестины.

Я не буду говорить, что негры воспринимали демократию как высший, конечный продукт политического развития человека, и что они видели достаточно различий между коммунизмом и демократией, чтобы убедить себя в ценности последней. Они не дошли до этой стадии интеллекта - как и я, только много позже. Я не думаю, что даже негритянские коммунисты, так недавно появившиеся в новостях, при всей их репутации умственных способностей, много думали о реальных различиях. Ведь на самом деле, конечно, коммунистическая доктрина, подобно догмам самой фундаментальной религиозной секты, не поощряет размышления. Если бы это было так, то, вероятно, во всем западном мире было бы меньше, чем в деревне, коммунистов, потому что стало бы ясно, что коммунизм - это отход от идеи, которой западный мир живет со Средних веков, - идеи, что человек - это цель всех человеческих усилий, и что простого "выживания и безопасности" для человека недостаточно. Но это различие достаточно грубо, чтобы объяснить, почему коммунизм - идеология кризиса; почему он должен использовать свой шанс завоевать умы людей, когда их высшей надеждой является лишь спасение от смерти. Нет, даже интеллектуалы, кажется, не видят этого; а другие различия более тонкие, более изящные. Но они тоже фундаментальны.

Прежде всего, коммунизм - это революция, разрыв порядка, перелом в развитии западной цивилизации. Демократия же - это способ ведения дел таким образом, чтобы обеспечить некую гармоничную преемственность в направлении развития общества. Могут быть ошибки и промахи, и, конечно, есть отставание, но люди в демократическом обществе настолько чувствительны, что автоматически оказывают корректирующее воздействие, как гироскоп на корабле. В этой чувствительности и заключается сила демократии. Коммунизм должен действовать в рамках относительно простой, но жесткой структуры (типа "бесклассового общества") с узкой философской базой и узко определенными целями, чтобы престиж власти мог быть повышен до тиранических размеров и чтобы декреты власти могли быть

немедленно и постоянно проверены. Здесь нет места ни ошибкам, ни разногласиям. Демократия - это сложный образ жизни, лишенный той предельной концентрации энергии в каком-либо одном направлении (за исключением чрезвычайных ситуаций), которая характерна для коммунизма, и которая не допускает противоположных точек зрения. Коммунизм должен, во-первых, радикально ограничивать свободу человека, во-вторых, предписывать его права и привилегии, и, наконец, быть постоянно готовым к отчуждению этих прав - силой, если это необходимо, или демонстрацией силы, или подразумеванием силы. Демократия стремится к постоянному расширению свободы человека. Поскольку в наше время коммунизм, похоже, смог утвердиться только с помощью насилия, разумно предположить, что насилие необходимо для его сохранения, и в то же время он более подвержен распаду с помощью насилия. При коммунизме человек - раб государства. При демократии государство - слуга человека.

Если вся эта редакционная статья звучит несколько в стороне от темы, поскольку лишь на периферии имеет отношение к моей негритянскости, то я могу лишь заявить, что она кажется мне описанием трезвых фактов, и что она служит для объяснения коммунистам моего антикоммунизма. Я должен был дать им ее десять лет назад. Они должны были получить ее еще в 1942 году, когда после десятилетнего перерыва коммунисты снова набросились на меня и заставили меня попытаться добиться определенной ясности в этих вопросах.

Я написал книгу под названием "Нет дня триумфа", и коммунисты ознакомились с ее предварительными копиями. Она им понравилась, хотя я до сих пор недоумеваю, почему. Возможно, дело было в том, что я не осуждал коммунизм, а, по сути, выражал симпатию к некоему Майку Чоуэну, который давно был коммунистом и воевал в составе батальона Линкольна в Испании. Какова бы ни была причина, New Masses впервые опубликовал отрывок из моей книги, не получив, насколько я помню, ни моего разрешения, ни разрешения издателя. Вскоре после появления отрывка в New Masses и за несколько недель до публикации я начал получать письма от коммунистов по всей стране. Некоторые из них были от менеджеров книжных магазинов, которые сообщали мне, что собираются продвигать книгу, и приглашали меня на чаепития и автограф-вечеринки. Я принял только одно из этих приглашений - выступить перед группой в Вашингтоне, куда мне все равно нужно было ехать по другим делам. Позже меня попросили выступить в радиопрограмме с Эллой Уинтерс в Филадельфии, но помешали предыдущие обязательства.

Через некоторое время после публикации я отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в званом ужине Карла Ван Вехтена. Когда он закончился где-то после полуночи, не совсем понимая, во что мы ввязались, мы с женой приняли приглашение на другую вечеринку и оказались в квартире на Западной 56-й улице, окруженные разношерстной толпой, которая сказала мне, что собирается сделать "День триумфа" бестселлером. Они собирались поставить меня как писателя в один ряд с Говардом Фастом и Ричардом Райтом, которые, как они утверждали, если бы не они, не оказались бы там, где оказались. Ближе к рассвету комитет из трех человек загнал меня в угол на кухне и спросил, подпишу ли я карточку. Я ответил, что мне нужно подумать. То, что я написал выше, - это то, что я думал.

Насколько я знаю, никто извне никогда не пытался заразить негритянскую группу фашизмом. Внутри группы были некоторые, но, за исключением Маркуса Гарви, я не думаю, что они были сознательно фашистами. Негритянские колледжи, как правило, порождают фашизм - я бы сказал, его мягкую форму, за исключением того, что фашизм органически истеричен, а мягкой формы не существует, - и я встречал президентов негритянских колледжей, чьи представления вызывают подозрительное удивление и которые, судя по тому, как они управляют "своими" учреждениями, похоже, убеждены, что методы демократии слабы и упадочны. Будучи, как правило, жертвами тирании, навязанной извне, они становятся тиранами внутри академической группы и, если им предоставляется шанс, за ее пределами. Они играют роль сильного человека и диктатора. Они считают, что люди и вещи должны быть "выстроены в ряд" благодаря превосходному интеллекту, которым, по их мнению, наделены их должности. Они испытывают огромное презрение к преподавателям, которых они считают справедливо недооцененными сотрудниками, возможно, более ценными, чем уборщики, но значительно менее ценными, чем футбольные тренеры.

Что еще более опасно, это президентское презрение охватывает студентов, которые вырастают в зрелом возрасте с личностями, привыкшими к подчинению, и, скорее всего, верят в непогрешимость принципа диктатуры. В общем, негры, получившие образование, так и не научились жить со Свободой, и именно поэтому они почти полностью отсутствуют в рядах тех, кто применяет привилегии и инструменты демократии для строительства просторного дома Свободы. Там, где они заняли место лидеров негритянских общин, стоит тошнотворный запах коварства и маслянистой угодливости. Это своего рода фашизм наоборот.

Группа родителей негров в одном из городов Вирджинии хотела уравнивать условия обучения в негритянской школе с условиями обучения в белых школах. Одной из вещей, которых не хватало в цветной школе, был кафетерий. Это было особенно заметно, потому что городской школьный совет только что пристроил это удобство (стоимостью 20 000 долларов) к единственной белой школе, где его не было. Родители негров обратились к директору своей школы. Как у амбициозного и трудолюбивого педагога, не столь самодовольного и временного, как большинство ему подобных, у него были идеи, и главная из них заключалась в том, чтобы группа родителей собрала средства (он считал, что 2500 долларов хватит!) в негритянских домах, церквях и других расовых учреждениях. Проявив инициативу и энергию, думал он, можно донести до белых людей, что негры достойны внимания.

Естественно, среди тех, кому впервые был представлен проект, был негр, признанный лидер цветного сообщества, - юрист, выпускник негритянского колледжа и белой юридической школы. Он пользовался уважением среди своих людей и вниманием со стороны белых, что было вполне реально.

Мой друг случайно оказался в офисе адвоката, когда туда пришел родительский комитет. То ли из хамства, как считает мой друг, то ли из-за вполне человеческого желания доказать свое влияние, то ли потому, что он ясно видел свой долг лидера, адвокат полностью взял все на себя. "Мы свяжемся с настоящими деньгами", - сказал он. "Нет смысла совать цветным людям два цента". Затем, взяв телефонную трубку, он позвонил нескольким своим белым "друзьям" - производителю арахиса (он тщательно идентифицировал их между звонками), банкиру, страховому брокеру и другим - и объяснил им проект негритянских родителей по строительству школы. По словам моего друга, за десять минут "самого искусного

подхалимства" адвокат собрал более тысячи долларов. Он напечатал для родителей заявление, удостоверяющее личность, и отправил их собирать деньги у своих белых друзей.

По словам моей подруги, она с открытым ртом наблюдала за этим виртуозным представлением. "Это было как в театре, когда ты настолько поражен мастерством звезды, что не думаешь о самой пьесе до тех пор, пока не опускается занавес. А может быть, вас поражает не мастерство. Может быть, это личность. Я помню Кэтрин Корнелл в... Ну, это было именно так, - сказала моя подруга с чем-то очень похожим на благоговение в голосе и на бледном лице. Она пришла в себя после того, как опустился занавес.

"Мистер Со и Со, - спросила она, - вы хотите сказать, что умоляете белых людей в этом обществе дать вам вещи, которые должны быть у всех и на которые вы имеете такое же право, как и они? Это же 1951 год! Разве вы не слышали, что сейчас происходит - судебные иски об уравнивании и все такое?"

"О, - сказал адвокат, беззлобно смеясь, - они не хотят судиться. Они просто хотят иметь кафетерий, как в школах для белых".

Тургуд Маршалл, главный юрисконсульт Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, говорил, что самым трудным для его сотрудников было убедить негритянских учителей и представительных негритянских родителей выступить в качестве истцов в исках о равном образовании. Их нужно отучить от детской веры в сиюминутную выгоду от положения меньшинства в среднем классе. Их нужно с болью и терпением учить, что демократия - это законное предприятие, что ее институты должны обеспечивать их достоинство и что они не могут спасти себя, не забыв о себе в борьбе за спасение прав человека. Негритянские колледжи почти не занимаются таким обучением.^[9]

То, что я пытаюсь прояснить, - это фактическое состояние сознания среднего американского негра из среднего класса в середине двадцатого века. Чтобы объяснить, как это состояние возникло, пришлось бы изрядно потрудиться над историей. Кроме того, я уже пытался объяснить это в другом месте. Суть лишь в том, что это состояние существует, и оно не является здоровым. Как мне кажется, его нельзя вылечить и поверхностной терапией интеграции на специальных уровнях - например, на уровне аспирантуры и профессиональной школы, - которая сегодня превозносится как панацея. Это не так. Интеграция на этом уровне - это в лучшем случае победа метода демократии, а метод и дух не обязательно едины. В течение многих лет американские негры из высшего среднего класса учились в аспирантуре и профессиональных школах вместе с белыми, не учась и не стимулируя своим присутствием инклюзивный тип мышления, который необходим для реализации духа демократии. Ассоциации на таких уровнях столь же случайны и беспорядочны, как течение бесканальных вод. Они не вгрызаются глубоко в схемы идей и не погружаются в матрицу эмоций.

Интеграция должна начинаться на гораздо более низких уровнях - в детском саду и воскресной школе, в скаутах и лагерном костре - до того, как идейные шаблоны закрепятся, а матрица эмоций наполнится коррупцией нетерпимости. Интеграция должна быть полной и абсолютно без "если", "и" и "но". В конце концов, конечно, от этих уровней можно перейти к межнациональным отношениям. Но какой тогда будет вред? Не будет полной шуткой сказать, что легальный межнациональный брак лишь санкционирует и несколько уравнивает мисцегенацию, которая продолжается в этой стране с 1622 года, когда, как утверждается, в Америке родился первый ребенок смешанного негритянского-белого происхождения. И утверждение, что межнациональные браки между американскими неграми и белыми повысят жизнеспособность американского народа, биологически обосновано.

К счастью, интеграция не является политической концепцией (хотя ее и сделали политическим вопросом) и поэтому не связана с именем лидера. Преимущество этой концепции заключается в том, что она лишает оппозицию того пагубного рычага воздействия на уязвимую личность, который всегда предоставляет идентификация лидера и который может разрушить или повергнуть в длительный паралич даже самые полезные и легко защищаемые социальные концепции. Если вы не можете свергнуть идеи, которые вы боитесь или ненавидите, тогда нападайте на человека, стоящего за этими идеями, и тем самым унижайте то, за что он выступает. Такова история борьбы с идеями.

Но если у концепции интеграции есть это преимущество, то у нее есть и недостаток - она неделима. Не существует декалога интеграции, каждый пункт которого может быть отдельно усвоен и применен на практике. Это не "по очереди" и не "в первую очередь". Это должно быть усвоено все сразу или убито все сразу.

И именно этот факт, как мне кажется, пугает негров из более стабильных классов. Они видят в интеграции разрушение определенных монополий в образовании, профессиях и некоторых видах бизнеса. Например, в моем родном городе, где сегрегация могла быть отменена еще двадцать лет назад, негр-владелец единственного негритянского театра, который в то же время был членом городского совета, боролся со всеми попытками искоренить практику исключения негров из белых театров, закрытых спортивных мероприятий и других мест развлечений. Он мог получить помощь и утешение от директора негритянской школы и некоторых негритянских учителей, которые боялись, что "элл" приведет к "милл" и что их работа будет поставлена в условия открытой нерасовой конкуренции, к которой они, по их мнению, не были готовы.

Но интеграция также противоречит всему, во что белых и негров учили верить. Она противоречит всему, что, по их мнению, способствует гармоничному социальному развитию. Большинство белых убеждены, что интеграция - это путь к социальной и даже биологической катастрофе. Убежденность эмоциональна, и с ней, как правило, не поспоришь. Если бы с сегрегационистами можно было спорить, они бы не были сегрегационистами. Они заняли свою позицию на неоспоримых основаниях, и я думаю, что они заняли ее совершенно вопреки своему *интеллектуальному* пониманию проблемы, центральной для нашего времени. Законодательное собрание штата Джорджия в 1951 году было очень искренним, когда сочло нужным принять законопроект, предусматривающий, что никакие средства, выделенные на образование, не могут быть направлены в учебные заведения, в которых не соблюдается сегрегация. Всего несколько недель спустя губернатор Южной Каролины Бирнс, который был сенатором, судьей Верховного суда и государственным секретарем, заявил: "Политики в Вашингтоне и негритянские агитаторы в Северной Каролине, которые сегодня стремятся отменить сегрегацию во всех школах, узнают, что то, что правительство коврового мешка не смогло сделать в эпоху Реконструкции, невозможно сделать в этот период". Затем он выразил мнение, что прежде чем то, что "не может быть сделано", будет сделано, система государственных школ в Южной Каролине будет упразднена.^[10]

Это парадокс и ирония. Очевидная ирония заключается в том, что вы выступаете за упразднение того самого, на котором должна покоиться демократия, - граждан, получивших государственное образование, - чтобы обеспечить, как подразумевал Бирнс, сохранение демократии. Но парадокс гораздо глубже, ведь если в словах Бирнса есть эмоциональность, то есть и противоположность эмоциональности. Ведь его слова представляют собой сознательную и социально доминирующую реакцию, основанную на статичных концепциях и идеалах - концепции врожденной неполноценности негра и идеале белого

"англосаксонского", преимущественно протестантского сообщества, которое заслуживает право на Божественную благосклонность, поскольку содействует делам негров, не поощряет сознательно преследования ни евреев, ни католиков и даже иногда позволяет себе рискнуть провозгласить мир единым.

То, что концепция полной интеграции, которая, как мне кажется, представляет собой логическое развитие демократического мышления, должна находиться в глубоком конфликте с реальностью американского обучения (я не буду говорить "преподавания"), является высшим парадоксом нашей демократии. Центральная проблема нашего века - выражение единства человека. В "Заявлении ЮНЕСКО о расе" об этом говорится со всей очевидностью: "Единство человечества как с биологической, так и с социальной точки зрения является главным. Признать это и действовать в соответствии с этим - первое требование современного человека". Американцы и значительная часть народов западного мира считают, что демократия - это та рамка и, возможно, единственная рамка, в которой единство может быть достигнуто и сохранено. Они должны верить в это, иначе их пропагандистское и материалистическое продвижение ее, их усердные и даже неистовые усилия "продать" ее остальному миру - это, по сути, аморальное и эгоистичное предложение демократического опыта человечеству ценой души человека. Если американский народ, возглавляющий западный мир, верит, что демократия - это прочный каркас единства, то он должен льстить себе верой в великую судьбу. И это все хорошо, но они должны также осознать, что западная демократическая цивилизация подошла к тому моменту, когда путь развития, соответствующий человеку и необходимый для демократии, обозначен как "Интеграция". Если он не будет выбран сейчас, то американский народ должен изменить свои желания, детрузорно модифицировать свои идеалы и сознательно растворить те органические связи принципов, которые придают демократии высший смысл. Они должны перестать руководствоваться символами "неотъемлемых прав человека", "стремления к счастью", "свободы" и "равенства" и закрепить вместо этих символов надежды человека символы страха - выживания, коллективной безопасности. Путь к интеграции не стоит откладывать на завтра. Завтра наступит уже сейчас.

Я не хочу заходить слишком далеко, но вряд ли можно сомневаться в том, что интеграция - это практическая задача, скрытая в нашем современном мире. Это не абсурдный идеализм, предлагаемый просто в противовес преобладающим взглядам и практикам, которые работают для большинства мужчин. Простая истина заключается в том, что преобладающая практика не работает для большинства мужчин. В то время как его совесть тревожит этот факт, западный человек настолько заострен в некогда комфортной уверенности в собственном превосходстве, что кажется бессильным изменить практику, которая поддерживает его убежденность. Это ошибка его юности. Это бесцеремонное безразличие к незнанию других. Это неспособность понять мировое общество, частью которого он является. "Мировое общество" больше не является метафизической абстракцией. Оно очень реально, очень конкретно. Оно достаточно реально, чтобы сократить возможности для национальной инициативы в ведении внутренних дел. Соединенным Штатам больше невозможно сохранять различия между расами, закрепленные в законах и обычаях, без фундаментального отрицания того, за что они, как они утверждают перед всем миром, выступают и за что борются, - сущности человечества.

Возможно, я придаю этому слишком большое значение, возможно, я излишне горяч и неразумен в этом вопросе. Должен признаться, что в моем сознании, как камешки на поверхности воды (только чтобы погрузиться в нее), мелькают мысли о моих сыновьях. Бывают моменты, когда я достаточно сентиментален, чтобы надеяться, что история - это необходимый прогресс к лучшему и что разочарования человеческого духа становятся все меньше и меньше. Я знаю, что лучше. Но я питаю такие надежды, когда речь идет о моих сыновьях, и я склонен поддерживать их неистово.

Не стоит просто пожимать плечами и рассуждать о психических травмах, которые терзают американского человека. По крайней мере, так было семь лет назад, когда моему старшему сыну было восемь, а младший еще не родился. И сейчас, когда младшему уже почти семь, это все равно не поможет. Аргументы тоже не очень-то служат, хотя я думаю, что выступаю за нечто в высшей степени разумное. Это простота. Я выступаю за то, чтобы заменить спонтанные, инстинктивные реакции на обдуманные, основанные, как я уже говорил, на неизменных идеях и идеалах. Мне кажется, что старые правила - введенные в силу крайней запутанности морали и социальной целесообразности, а также сознательного невежества - не только излишне сложны для современных времен и людей, но и постепенно становятся непригодными для современного образа жизни, прогресса знаний, технологий и (конечно, все это допустят) для единого мира. Сделайте правила достаточно простыми, и мы сможем играть в самую сложную игру.

С моим старшим сыном (а также с моим младшим сыном совсем недавно, хотя и не при столь печальных обстоятельствах и не в столь наглядных деталях) случилось то, что, пока он играл в игру со всем энтузиазмом восьмилетнего ребенка, кто-то "усложнил" правила. Я отчетливо помню, как это произошло.

В течение нескольких недель, пока моя жена была с ребенком, на мне лежала непривычная обязанность "заниматься маркетингом", как это так причудливо выражается на верхнем Юге. Нашим рынком был кооператив на шоссе за городом, в самом центре одного из тех аккуратных и однообразных жилых поселков, которые, казалось, появлялись повсюду в 1940-х годах. Моей жене нравилось это место. Это было удобно, ассортимент был превосходным, а цены, как правило, несколько ниже, чем в сети магазинов. Кроме того, в совет директоров кооператива входил негр (коллега и друг), и, что было еще одним привлекательным моментом, там работало несколько негров - по крайней мере, один в качестве клерка, а другой - мясника. Атмосфера в кооперативе, в отличие от сетевых магазинов, была дружеской, теплой, неторопливой. Моя жена полагала, что это связано с соседством - районом, где проживает средний класс, лучше среднего, разумеется, сегрегированный: авиаконструкторы, инженеры и другие технологические специалисты, а также разрозненные военнослужащие (кажется, никто не был ниже лейтенанта на флоте или капитана в армии) с различных военных объектов поблизости. Как один из держателей уставных акций, я тоже был намерен полюбить это место.

В пятницу был рыночный день. До тех пор пока состояние здоровья не позволяло ей ездить туда, постоянным спутником моей жены в этих экспедициях был наш сын. Где-то весной он завязал дружбу с кооперативом и с приятным волнением ожидал еженедельных обновлений. В первый раз, когда я взял его с собой, я с замиранием сердца наблюдал за возрождением братства. Мой сын ворвался в дверь раньше меня, остановился, окинул взглядом первый проход (свежие фрукты и овощи), подбежал ко второму, посмотрел, а потом вдруг испустил индейский клич - "Реджи!" - и получил в ответ - "Конвей!". И тут я увидел, как красивый

темноволосый и темноглазый мальчик примерно возраста Конвея оторвался от молодой негритянской девушки и рванул по проходу между высокими стеллажами с яркими упаковками продуктов к моему сыну. Мгновение они стояли, глядя друг на друга, затем объединились, каждый обнял другого за плечи, и отправились играть на улицу среди машин, пока не освободится рынок. Я посмотрел на негритянку в форме, она улыбнулась, я улыбнулся, и на этом все закончилось.

Так продолжалось четыре или пять недель: Конвей и Реджи встречались друг с другом с такой силой, что казалось, это снаряды, и разлетались в разные стороны. Уходя с рынка, я заставлял их на улице, разгоряченных и счастливых, играющих в какую-то невозможную игру.

Однажды в пятницу Реджи (мы так и не узнали его фамилию) не оказалось рядом с негритянской служанкой. Его опекуном на этот раз был мужчина - высокий, красивый, лет сорока, как мне показалось, который, несмотря на ключ Phi Beta Kappa, перекинутый через его плоский живот, выглядел на природе мужественным. Мальчики, как обычно, собрались вместе и, как обычно, вышли на улицу, но маркетинг мужчины, видимо, был почти закончен, потому что не успел я закончить выбирать самые тяжелые и сочные апельсины, как Конуэй снова оказался рядом со мной. "Где Реджи?" спросил я его. "Ему пришлось уйти", - ответил он. "Его папа очень торопился". Но он уже с нетерпением ждал следующей недели.

На следующей неделе горничная в форме снова была с Реджи, но на этот раз, когда Конвей издал свой привычный крик, никакого вокального ответа не последовало. Реджи повернулся, как мне показалось, с минутным нетерпением, но крика и спешки не последовало. Он приближался очень медленно. Он слабо улыбался, но улыбка померкла, когда он подошел. Возможно, почувствовав, что что-то не так, Конвей и сам замешкался. "В чем дело?" - спросил он Реджи. "Давай, парень, пойдем. Разве ты не хочешь поиграть?"

"Я не могу с тобой играть", - сказал Реджи.

"В чем дело, ты заболел?" поинтересовался Конвей.

"Я просто не могу больше с тобой играть", - сказал Реджи.

Конвей придвинулся ко мне чуть ближе, вцепился в ручку тележки с едой, которую я толкал. Горничная стояла на некотором расстоянии, делая вид, что не наблюдает за происходящим. Вокруг нас снова были приятные голосистые покупатели с приятными лицами. Другие дети, помладше, бегали и кричали в проходах. Запахи свежей выпечки, молотого кофе, фруктов и овощей, а также краски - все было как всегда. Но в сердце зародился холодок. Прежде чем Конвей задал следующий вопрос, я уже знал, какой ответ последует. Я не знал его слов, но я знал, как он прозвучит: железо, к которому он не будет готов; разъедающая ржавчина, которая образуется в его крови и которую, если только я не буду искусен, как не был искусен мой отец, я никогда не смогу отвести. В тот момент - нет, еще до момента ответа - мне захотелось подхватить Конвея на руки, крепко прижать к себе и отвести деморализующий удар, который может быть нанесен на всю жизнь. Но я не мог этого сделать, даже схватив сына за руку и уйдя в другом направлении. Я был ошеломлен.

"Почему?"

Реджи нахмурился - гримаса, которая еще не была по-настоящему уродливой, потому что ассоциировалась только со словами, но не с чувствами. Это придет позже, и слово станет плотью, а плоть - его навсегда. Сейчас же хмурый взгляд был лишь имитацией.

"Потому что ты ниггер, вот почему", - сказал Реджи.

Конвей удивленно посмотрел на меня, не чувствуя боли, как, говорят, удивленно смотрит человек, знающий, что его ранили, но не чувствующий боли.

"Я лучше тебя, - сказал Реджи, - потому что так сказал мой отец".

"Это не так", - сказал Конвей, но мне показалось, что он слегка прижался ко мне.

"Нет, сынок, это не так", - сказал я.

"Я тоже", - сказал Реджи, глядя на нас обоих. Слова начинали вызывать эмоции и связываться с эмоциями. Ухмылка больше не была имитацией. Он стоял, опираясь на левую ногу, засунув руки в карманы своих шорт цвета хаки, белизна его проявлялась в полоске чуть ниже линии роста волос, а остальная часть - голый торс, голые ноги - загорела почти до цвета моего сына.

"Нет, сынок", - сказал я, обращаясь как к одному, так и к другому. Думаю, мне было жаль и Реджи. Во всяком случае, сейчас, когда я вспоминаю об этом.

"Нет", - сказал Конвей и выпрямился. "Мой папа говорит, что нет".

"Ты не ходишь в мою школу, не ходишь в мою церковь, не ходишь в кино, на которое хожу я. Держу пари, ты даже никогда не видел Тима Холта, - добавил он в скобках, - и это потому, что ты недостаточно хорош. Йа-йа!" Реджи сказал. "Ниггеры работают на нас, ниггеры работают на нас, ты - ниггер, и Трикси - ниггер, и Трикси работает на нас". Это было пронзительное пение. "Йа-йа ниггер ниггер, иди торгуй своими бумажками, ниггер!" С этими словами он убежал, вернувшись, как я полагаю, к Трикси, которая работала на него, потому что была негритянкой.

Конвей не плакал, но в его глазах была рана, и я знал, как она может разрастись, зарости и накачать своим ядом каждую ткань, каждую клетку мозга. Он оставался рядом со мной, пока я готовил рынок. По дороге домой он яростно сказал: "Я ненавижу эту машину!"

Это не казалось мне каким-то вступлением к тому, о чем я знал, что должен говорить, и чем скорее, тем лучше. Когда с ним случается то, что случилось, образуется неприятная рана, требующая немедленного вмешательства. Вы хотите, чтобы нож сделал эту работу быстро, ловко, чисто, но единственными инструментами в хирургическом наборе являются слова.

Поэтому, когда я поинтересовался, что не так с машиной и почему он ее ненавидит, он сказал: "Почему у нас не может быть хорошей машины, новой, с радио, и побольше, как у Реджи?" Я попытался объяснить ему, что это было военное время, что машины были в дефиците и цены на них были высокими и что для того, чтобы получить новую машину, нужно было сделать что-то немного подпольное, что-то, что мало чем отличалось от воровства или мошенничества.

"Отец Реджи воровал?"

"Я бы так не сказала, - ответила я, - но я бы не стала ставить это ему в вину. Он не очень хороший человек".

"Откуда вы знаете? Вы ведь его не знаете?"

"Нет", - сказал я, - "но мне не нужно его знать, чтобы понять, что он нехороший человек". Я выразился так просто, как только мог. Я сказал ему, что родители часто отражаются в своих детях. Я немного рассмешил его, напомнив о том, как в шесть лет он поставил нас с мамой в

неловкое положение, сказав одному из наших друзей: "Мне кажется, у тебя зубы из магазина", - именно это он услышал от меня в адрес этого друга.

"То, что Реджи сказал сегодня, сказал ему его отец. Вот откуда я знаю, что отец Реджи - нехороший человек".

"Он ведь говорил неправду?"

"Нет", - сказала я, покачав головой.

"Я имею в виду, что он был лучше?"

"Нет", - ответила я.

"Тогда почему я не могу ходить в его школу и в его кино?"

Это была глубокая инфекция, и я не знал, как с ней справиться. Слова были припарками, запечатывающими инфекцию. Я мог вспомнить их из собственного детства в ответ на вопрос "почему?". Ведь дети не рождаются с ответами. Слова, сказанные моими родителями, моими учителями, моими друзьями. Слова могли запечатать инфекцию, а заодно и себя самого, который уже никогда не сможет прорваться наружу, разве что в случае крайней удачи. Но у меня не было другого выбора, кроме как использовать их. Я рассказал ему о предрассудках. Никто никогда не объяснял анатомию предрассудков достаточно просто для детей.

"И причина, по которой ты не ходишь в школу Реджи, - вспоминаю я, - в том, что там есть такие люди, как отец Реджи".

"Все это очень сложно", - ответил Конвей.

Мне было приятно посмеяться над выражением лица своего ребенка, но я заметил, что он не смеется, и дома несколько минут спустя, когда я закончил укладывать продукты в кладовку, я обнаружил его прижавшимся к округлой груди матери и безудержно рыдающим. Но и на этом все не закончилось. "Он все выплакал", - сказала его мать. Она ошибалась.

Через семь лет после этого, поздней весной 1950 года, мы получили письмо от директора подготовительной школы Конвея в Новой Англии: "Мы не смогли связаться с ним..... Похоже, он предпочитает быть один и не принимает участия даже в тех видах деятельности, к которым у него есть несомненные таланты. Естественно, такое отношение вызвало у нас серьезное беспокойство, ведь важной частью нашей образовательной программы является обучение гражданственности и совместной жизни....".

Возможно, здесь есть лишь небольшая связь, но меня трудно переубедить.

13

Я хорошо знаю, что в пропаганде браков между расами есть нечто предосудительное - настолько, что, будь я преподавателем в поддерживаемом государством колледже на Юге, меня бы за это уволили. В каком-то метафизическом уголке сознания белого человека межрасовый брак отождествляется с безнравственностью, биологической особенностью и извращением. Это отождествление - отчасти вопрос совести и, как исчерпывающе

объясняет Гуннар Мюрдаль, отчасти вопрос ревности. Неограниченное использование негритянки в качестве сексуальной партнерши и мамочки во время рабства произвело странное действие на сознание белого человека. Оно наполнилось тревогой, чувством вины и гротескным преувеличением сексуальной оснащённости негритянского мужчины - оснащённости, от которой белый мужчина с тех пор вынужден защищать белую женственность. По словам Мюрдаля, "необходимость "защищать" белую женщину от этой надуманной доблести негра-мужчины [является] неизменной констелляцией в этосе" Америки.

Распространено мнение, что белая девушка, которая выходит замуж за негра, морально развращена и, безусловно, сексуально ненормальна, поскольку ни одна *нормальная* белая женщина не может наслаждаться дикой сексуальной потенцией среднего негра. Что же касается белого мужчины, который женится на негритянке, то он вскоре "устанет от ее необычайной чувственности и вернется к более безопасным и разумным сексуальным практикам" своего собственного рода. Подобные утверждения, сделанные представителями расы большинства со всей откровенной настойчивостью беспокойной совести, в достаточной степени обусловили негра, чтобы он не мог высказаться в пользу межнациональных браков. Но никто не потрудился подтвердить заявления о сексуальной несовместимости между расами научными исследованиями. (Насколько мне известно, никто не проводил исследования, например, сравнительной сексуальности негров-американцев и белых американцев). То, что такая несовместимость существует между нормальными представителями двух рас, - это предположение, основанное на эмоциях, которое находит одобрение и поддержку в законах, запрещающих межрасовые браки. Такие законы кажутся мне наиболее фундаментальным выражением человеческого неравенства, которому подвергается негр. Они наносят удар по самым глубоким корням личного достоинства и самоуважения. Одно дело, и очень хорошее, когда тебя признают первоклассным гражданином: другое дело и еще лучше, когда тебя признают первоклассным человеком. Это и есть высшая степень цивилизованности.

Но если предположение о сексуальной несовместимости основано на эмоциях, то убеждения о неполноценном родстве основаны на чистой мифологии. Мифы о смешении негритянской и белой крови представляют собой любопытное переплетение биологического, морального и социального. Мифы достаточно противоречивы, чтобы быть взаимоисключающими, но эмоционализм поглощает эти противоречия. Прежде всего, вопреки всем другим обозначениям групп крови, в Америке негром считается каждый, в ком есть хоть капля негритянской крови. В той мере, в какой эта практика считалась сдерживающей межрасовое сожительство (хотя во времена рабства ее истинной целью было увеличение количества человеческого скота), она когда-то имела своего рода левую моральную санкцию. С тех пор это стало национальной привычкой и закреплено законом в южных штатах. Это породило убеждения, столь же иррациональные и необъяснимые, как ночные кошмары.

Белые люди выигрывали иски о клевете за то, что их по ошибке называли неграми, но среди большинства белых существует твердое убеждение, что белая кровь для негра - это фальсификация его высшего и лучшего потенциала. Но дело обстоит еще более безумно, поскольку одновременно с этим существует и другое убеждение: только негры с белой кровью начинают приближаться к биологическим, умственным и моральным стандартам белого человека. В то самое время, когда преподобный Томас Диксон-младший в своем романе-бестселлере "Пятна леопарда" и нашумевшей драме "Клансмен" доказывал, что отпрыски смешанных родителей вырождаются, становятся хитрыми, порочными и

развращенными, высшие достижения Букера Т. Вашингтона объяснялись тем, что его отец был белым. Добрые, нежные, преданные негритянские мамочки всегда были чисто черными; но все цветные девицы, которые когда-либо заманивали белых мужчин в постель Летей, были "высокого желтого цвета".

Термин "полубелый", который всегда употреблялся в свободной форме, охватывает все степени смешения крови и все виды противоположностей. Если бы в этом вопросе была рациональность, то в соответствии с подразумеваемым преобладанием негритянской крови над белой в принятом определении негра, термин был бы "наполовину черный". Нет никакого смысла в том, что "полубелый" должен означать наделенность всеми преступными наклонностями и вундеркиндами, как Филиппа Шуйлер (чья мать белая) и Уолтер Уайт (который более чем на четверть белый), романист Фрэнк Йерби (который, возможно, восьмой) и Ральф Бунче (который тридцать второй). Нет никакого смысла в том, чтобы интеллигентная белая женщина, впервые увидев Поля Робсона, чья репутация была международной, а затем и незапятнанной, заметила своей спутнице: "А я ожидала, что он будет черным! Я думала, знаете, что если у них белая кровь, то они обычно плохо себя чувствуют".

Если бы это было так, то по крайней мере десять миллионов из четырнадцати миллионов американских негров были бы плохими. А если бы все, в ком есть хоть капля негритянской крови, признались в этом, их было бы несчетно больше. Ведь каждый день в белую расу переходит множество негров. По самым скромным подсчетам, за последние два десятилетия в кровотоки белых американцев влилось четыре миллиона негров со всеми их сперматозоидами и яйцеклетками, генами и хромосомами. Они не оставили после себя почти никаких следов. Негры возводят защитную стену молчания вокруг отдельных случаев. Так, среди цветного населения хорошо известно, что некая знаменитая звезда кино - дочь негритянки. Белая, но не негритянская публика была шокирована четыре-пять лет назад, когда видный нью-йоркский адвокат сделал в зале суда признание о своем смоляном происхождении, чтобы получить долю в богатом наследстве. Многие "белые" люди, занимающие видное место в общественной жизни, в промышленности, в правительстве и в искусстве, известны неграм как негры.

И если бы в мифах была доля правды, уход был бы практически невозможен. В реальной жизни черная кровь говорила бы об этом так часто, как это делается в художественной литературе. Промышленники и другие работодатели обнаружили бы ее в прогулах, золотой работе и общей неусидчивости. Психологи выявили бы его по индексам поведения - немодулированной речи, кричащей одежде и другим формам эксгибиционизма. Физиологи обнаружили бы его в форме и оттенке ногтей и толщине черепа. Анатомы увидели бы его в "любопытном строении пятки" (которое должно было объяснить скорость Джесси Оуэнса, Ральфа Меткалфа и др.!) негритянского мужчины и в особой "яйцевидной форме ягодиц [негритянской] женщины".^[11] Психиатры отметили бы его в открытых агрессивных тенденциях, или в других формах эмоционального инфантилизма, или в полном отсутствии эмоционального реагирования. И каждый обнаружил бы его в "ржавом", "едком", "невыносимом" запахе, который испускают негры.

Пока я пребываю в раздраженном настроении, позвольте мне сказать, что я достаточно расово сознателен, чтобы часто быть шокированным и раздраженным тем, что даже исповедующие белую расу друзья не знают о неграх как на личном, так и на историческом уровне. Есть один вопиющий случай.

Во время правления своего мужа миссис Элеонора Рузвельт познакомилась с чернокожей, грудастой и очень энергичной женщиной по имени Мэри Маклеод Бетьюн. Негритянка в то время была заместителем администратора Нью-Йоркского агентства здравоохранения, и через нее жена президента, искренняя и бесстрашная женщина, вплотную занялась расовой проблемой. Белый Юг был взбешен зрелищем того, как миссис Рузвельт пробирается через запутанные лабиринты расовых и межрасовых отношений. Утверждалось (и южане, как и негры повсюду, принимали это за правду), что миссис Бетьюн через миссис Рузвельт имеет особые права на слух президента. Она, несомненно, имела такие права и на ухо жены Ф.Д.Р. Не одна фотография запечатлела этих двух женщин за серьезным разговором в, казалось бы, интимных обстоятельствах.

Миссис Бетьюн очень жива. Ее часто упоминают и изображают в цветной прессе. Она является экс-президентом Национальной федерации цветных женщин. Она принимала активное участие в конференции по проблемам старости в отеле Shoreham в Вашингтоне в 1950 году. Она выступила на полудюжине торжественных церемоний в крупных колледжах в 1951 году. Но в своей книге "Это я помню", написанной в 1949 году, миссис Рузвельт, после слов сердечной теплоты в адрес чернокожей женщины, называет ее "покойной [умершей, покойной!] миссис Мэри Маклеод Бетьюн". Репутация миссис Рузвельт (заработанная ценой большой личной критики) за знание и интерес к неграм, за либерализм, за социальный интеллект и такт - это как широкий росчерк пера, подчеркивающий шаблон ложного убеждения и бесцеремонного незнания негров, которому подчиняется большинство. И все же даже она могла допустить такую ошибку!

В идеале, конечно, я за то, чтобы убрать расовые обозначения в газетных статьях и тому подобном. Но этот идеал еще не достигнут. Похоже, что в редакциях новостей на большей части территории страны до сих пор принято указывать расу, когда негры замешаны в преступлениях, и по-прежнему принято опускать, за исключением тематических и специальных статей, расовые обозначения в новостях, которые могли бы отразить репутацию цветного населения. Когда Ральф Бунче стал посредником в еврейско-арабском споре, о том, что он американский негр, впервые стало известно в зарубежной прессе. Несмотря на сотни передовиц компетентных военных корреспондентов, даже сейчас не всем известно, что 24-я пехотная дивизия, которая так упорно сражалась и ценой своей жизни (она была почти полностью уничтожена) выиграла время, необходимое генералу Макартуру в начале боев в Корее, была негритянским подразделением сегрегированной армии Соединенных Штатов.

Лично я, при нынешнем положении дел, согласился бы на нечто меньшее, чем идеал. Редко можно встретить обозначения групп меньшинств: "итальянец", "грек", "еврей", "ирландец" и т. п., которые прилагаются к историям преступлений с участием представителей этих групп. Но, как утверждается, их также нельзя встретить и в других историях. Верно, и это очень хорошо. Это вопрос номенклатуры. Негритянские имена - такие же исконно американские, как "хот-дог", или такие же безошибочно англосаксонские, как "гаджер", - Ральф Бунче и Чарльз Дрю, Уильям Хасти и Джордж Доус Кэннон могут принадлежать любому англосаксу, протестанту или католику. Но ни один человек, обладающий достаточным уровнем

интеллекта, не примет Бернарда Баруха или Шолема Аша не за еврея, Фиорелло Лагуардиа и Винсента Импеллиттери не за итальянца, Джорджа Скурса не за грека, Рузвельта и Вандербильта не за голландца, Уильяма кардинала О'Коннела не за ирландца. Мы создаем эти ассоциации автоматически, и в общественном сознании возникает некое ощущение вклада этих групп в американскую жизнь. С другой стороны, в нашей национальной жизни и мышлении распространено заблуждение, что негры не внесли ничего существенного.

Не знать негра на групповом и историческом уровне - значит лишить его гордости и законной доли в американском наследии. Он не может претендовать на то, что принадлежит ему, разве что в искаженном и психологически нездоровом виде. Негр на нижних уровнях спасает себя от полного безумия, следуя шаблону невротического самовыражения, который проявляется в его ленивой и бормочущей речи, в его одежде, похожей на птичью, и в его развязной походке. Негр на верхнем этаже оборачивается на самого себя с прожорливым эгоцентризмом, который приводит в недоумение случайного наблюдателя. "Какой самосознательный народ ваши негры!" - воскликнул недавний французский посетитель. Он был прав. Негр постоянно живет в двух плоскостях сознания. Наблюдая за трансляцией боксерского поединка между негром Эззардом Чарльзом, который стал чемпионом в тяжелом весе, и белым претендентом, мой друг сказал: "Мне не нравится Чарльз как человек [один уровень], но я должен болеть за то, чтобы он победил этого белого парня - и хорошо [второй уровень]".

Сердце щемит от осознания первобытной энергии, которая нерастраченной и нерафинированной вливается в простое дело жизни негра в Соединенных Штатах - в любом из Соединенных Штатов. Негритянство - это своего рода сверхсознание, которое направляет мышление, диктует действия и извращает проявление инстинктивных влечений, которые являются спасительными и гуманными - например, гражданское влечение, так что в целом негры цинично равнодушны к политике; общественный драйв, так что обычно негр озабочен только собой как личностью; и даже сексуальный и любовный драйв, так что многие негры страдают от сексуальных расстройств, а многие негритянские пары отказываются рожать детей, которые "неизбежно вырастут под бременем поношения и стыда, которые обескуражили бы и унизили расу ангелов". Невозможно согласиться с Лилиан Смит в том, что психологический ущерб, нанесенный расовой ситуацией в Америке, больше для белых, чем для негров. "Каждый из нас знает, - сказал недавно всемирно известный негр, - что "нормального" американского негра не существует". Государственные приюты для душевнобольных предлагают красноречивую статистику. Хотя негры составляют менее десяти процентов населения страны, они составляют одиннадцать процентов от общего числа обитателей государственных учреждений для умалишенных.

Навязчиво отрываясь от американской традиции, негр на верхнем уровне вынужден поддерживать притворство обладания тем, в чем ему на самом деле отказано. У него не было иного выбора, кроме этого. Он не был свободен реализовать свои идеалы или стремиться быть тем, кем американская традиция заставляла его желать быть. Пол Лоуренс Данбар, вероятно, самый популярный американский поэт рубежа веков, не хотел писать "бубенцы на ломаном языке", но он был негром и, как негр, должен был писать на диалекте, иначе его не слышали как поэта. Джеймс Уэлдон Джонсон не хотел сочинять эти "смуглые" тексты и "куньи песни" для шоу Уильямса и Уокера и своего родного брата Розамонда - и Уильямс, Уокер и Розамонд Джонсон не хотели петь их и капризничать под них. Но как еще им было найти выход своим творческим порывам, когда все более конгениальные и менее специфические были заточены против них? У Дюбуа были мысли о карьере, отличной от той, которой он был вынужден заниматься. "Если бы не расовая проблема, рано навалившаяся на

меня и охватившая меня, - писал он в книге "Сумерки рассвета", - я, вероятно, был бы бесспорным поклонником того социального порядка и экономического развития, в котором я родился..... Неправильным было то, что мне и таким, как я, и тысячам других людей, которые могли бы обладать моими способностями и стремлениями, было отказано в разрешении стать частью этого мира. Словно двигаясь в мчащемся экспрессе, я думал только о том, как я отношусь к другим пассажирам этого экспресса, а не о его скорости и пункте назначения..... Мое внимание с самого начала было сосредоточено... на проблеме допуска моего народа к свободе демократии"^[12].

Отчуждение негра от американской традиции и недостаток знаний о негре на историческом уровне, конечно, отчасти являются виной социальных комментаторов, историков и социологов. Историки, в частности, виновны в почти полном молчании, как Уильям А. Даннинг; или в ошибочном расследовании, как Джеймс Форд Родс; или в неправильной интерпретации фактов, как Ульрих Филипс и У. Э. Вудворд; или в пропаганде, как Уильям Е. Додд и Джесси Карпентер; или откровенной и решительной антинегритянской предвзятости, как десятки крупных и мелких деятелей, включая Клода Бауэрс, Джеймса Труслоу Адамса и Джона У. Берджесса - последний из которых, благодаря своему авторитету преподавателя Колумбийского университета, дал научную санкцию предрассудкам. Он писал следующее:

"Утверждение, что с точки зрения политической этики цвет кожи ничего не значит, - большой софизм. Черный цвет кожи означает принадлежность к расе людей, которая сама по себе никогда не добивалась успеха в подчинении страстей разуму и, следовательно, никогда не создавала никакой цивилизации. Поставить такую расу людей во главе правительства "штата" в системе федерального правительства - значит доверить им развитие политической и правовой цивилизации по самым важным вопросам человеческой жизни..... Есть что-то естественное в подчинении низшей расы высшей, вплоть до порабощения низшей расы.... Миссия белого человека, его долг и право - держать бразды правления политической властью в своих руках во имя цивилизации мира и благополучия человечества".^[13]

Незнание и умышленное искажение фактов американской жизни и истории в отношении роли негра поставили перед негритянским ученым задачу, которая до сих пор была неблагодарной. В порядке самозащиты он вынужден пытаться внести ясность. Первый негритянский профессиональный писатель в Америке, Уильям Уэллс Браун, был прежде всего историком. Негритянские ученые написали тысячи диссертаций, тезисов, монографий, статей, эссе и книг в гигантской попытке исправить многочисленные травмы, нанесенные расе белыми писателями. Пять великих коллекций - в Говарде, Хэмптоне, Фиске, Йеле и Гарлемском филиале Нью-Йоркской публичной библиотеки - хранят тысячи томов и сотни журнальных и газетных папок, но мало кто, кроме негров, удосуживается потревожить их пыль. Белые не проявляют особого интереса к этой негритянской тематике. Похоже, они считают, что им не нужно знать о негре; им кажется, что основные истины о нем давно установлены. Даже первоисточники о том, кого белая Америка называет величайшим негром Америки, кого они ввели в Зал славы и о ком написали десять миллионов слов, даже первоисточники о Букере Вашингтоне - около двадцати тысяч писем и других документов - остаются почти не тронутыми и уж точно не исследованными в Библиотеке Конгресса, хотя издательство Гарвардского университета опубликовало эрудированную и "окончательную биографию" этого человека в 1949 году.

Негритянские писатели по-прежнему не представлены в антологиях американской литературы, хотя в свете культурной истории Америки биографии рабов (а среди них есть и "литературные") по крайней мере не менее важны, чем все, что когда-либо написали Себа Смит, Чарльз Огастус Дэвис, Джон П. Кеннеди и Уильям Гилмор Симмс. Пол Лоуренс Данбар

был лучшим поэтом и, по мнению Уильяма Дина Хоуэллса, более популярным поэтом, а по тому самому стандарту самобытности, которого придерживаются некоторые антологи, - более важным поэтом, чем Джеймс Уиткомб Райли. Джеймс Уэлдон Джонсон и Клод Маккей пользовались международной репутацией как писатели, но они отсутствуют в самых известных американских антологиях. Ричард Райт переведен на дюжину языков, включая китайский, и ставится европейцами в один ряд со Стейнбеком, Хемингуэем и Фолкнером, но американские антологии обходят его вниманием. Гвендолин Брукс получила Пулитцеровскую премию за поэзию, что больше, чем сделали Джесси Стюарт и Уильям Карлос Уильямс, но ее работ нет в сборниках американской литературы.

Нет и наиболее представительных работ белых, которые писали о неграх с некоторой долей справедливости и правды. Редакторы используют "Розу для Эмили", "Медведя" и главы из "Сарториса" и "Рассказанного идиотом" Фолкнера, но не "Вечернее солнце заходит" или отрывки из "Света в августе" и "Злоумышленника в пыли". Используются главы из "Гекльберри Финна", но не те, которые показывают, что ниггер Джим очень похож на других людей, и не те, которые осуждают институт рабства и выражают ненависть Гека к нему. Джордж В. Кейбл обычно представлен отрывками из "Старых креольских дней" и безобидными отрывками из "Грандиссимов", но никогда - "Мадам Дельфина" (безусловно, одна из лучших его книг), "Тихий Юг" или "Негритянский вопрос".

Результатом такого высокомерного пренебрежения стало то, что история американской культуры стала менее эффективным инструментом диагностики и оценки. То, что мы имеем в качестве истории, отражает мало доверия к американским историкам как ученым. Их работа - приятное чтение и раздувание национального эго, но она не говорит о тех порой тяжелых и постыдных истинах, которые сейчас было бы полезно знать всему миру. То, что Лилиан Смит называет "старым заговором молчания", должно быть разрушено, а "лабиринт фантазий и фальши, который [имеет] мало сходства с реальным миром", должен быть ликвидирован. Психопатическое сопротивление самопознанию, которое выработал американский разум, должно быть сломлено. Мы должны знать то, что на самом деле произошло и продолжает происходить в Америке. Когда эти вещи станут нам ясны, возможно, мы сможем использовать наши знания и опыт для руководства человечеством.

15

Но даже знаниям есть предел, как скажет вам любой психолог. Одних знаний недостаточно, чтобы избавить жизнь от глупости и спасти людей от отчаяния. Если когда-то это и было так, то теперь уже неправомерно считать, что высшая слава образования заключается в защите человечества, развенчании предрассудков и достижении тех моральных ценностей, которые, как говорят, вдохновляли людей других эпох. Возможно, я глубоко пессимистичен, но я просто не могу поверить в то, что если бы люди знали достаточно о том, что, почему и как, то все в мире было бы в порядке. Знание не обеспечивает нравственного поведения; оно слишком охотно ставит себя на службу деспотизму и бесчеловечности. Я полагаю, что в нашем современном образовании и среди наших современных ученых не хватает ощущения того, что мораль - это продукт человеческого опыта, что она исходит из древней, забытой нами мудрости, из осознания характера человеческой жизни.

Безусловно, моралистический подход к человеческим отношениям в целом и к расовым отношениям в частности в Америке провалился настолько последовательно, что о нем упоминают с неловкостью и неохотой. Его считают "набби-памби", "пусилланимом", "дядюшкой Томишем". Мало кто, даже из служителей Евангелия, апеллирует к благородству, добродетели и доброте, за исключением тех случаев, когда эти качества изворотливо связывают с "практическими заботами". Мы больше не думаем о великих людях как о великих в тех добродетельных качествах, на которые опирались прежние и более простые эпохи. Эти моральные качества - любовь, честь, правда - кажутся многим обычным людям "далекими от наших обычных дел". Великие люди сегодня "практичны", "реалистичны" и "общественно активны", и ни одно из этих качеств, как я понимаю, не обязательно является добродетельным. Если говорить банально, то любой из них может покрыть множество зол. Реалистическая позиция служит оправданием для бесчисленных посягательств на права человека; во имя общественного духа совершаются чудовищные преступления против человеческого достоинства; и слишком многие политики и дипломаты сделали практичность неприкосновенной санкцией на подавление достойных амбиций бессильных.

Именно действие этих качеств приводит, например, к тому фарсу, который американцы устраивают с Всеобщей декларацией прав человека ЮНЕСКО. Они превращают в фарс как ее цель, так и ее содержание. Все знают - или, конечно, должны знать - что такое Всеобщая декларация прав человека. Это документ, настолько ясно и просто выражающий то, что находится в сердцах и умах людей из народных масс, что, действительно, человек из народных масс мог бы легко написать его. В 1946 году представители восемнадцати национальных правительств - членов Организации Объединенных Наций - начали работу над составлением заявления, которое, по словам миссис Элеоноры Рузвельт, "установило бы стандарты прав и свобод человека во всем мире", чтобы признание этих прав и свобод "стало одним из краеугольных камней, на которых в конечном итоге может быть основан мир". Два года спустя Комиссия по правам человека представила свою декларацию Генеральной Ассамблее ООН. Сорок восемь правительств проголосовали за ее принятие. О том, что они проголосовали за принятие декларации, говорится в преамбуле:

"Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав является основой свободы, справедливости и мира во всем мире,

"Принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмутили совесть человечества, и наступление мира, в котором люди будут пользоваться свободой слова и веры и свободой от страха и нужды, было провозглашено как высшее стремление простых людей.....

"Принимая во внимание, что народы Объединенных Наций в Уставе вновь подтвердили свою веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равные права мужчин и женщин и преисполнились решимости содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе....".

Это было прекрасно и обнадеживающе, и, действительно, тем более, что Декларация родилась из Устава Организации Объединенных Наций. Устав - это не план абстрактного мира. Конечно, в нем заложена зрелость; но также в нем заложено уважение к реальности.

После принятия Генеральной Ассамблеей Всеобщей декларации, чтобы сделать ее законом, оставалось только ратифицировать ее каждым правительством-участником. Именно в этот момент возникла заминка. Возможно, Государственный департамент еще на этапе создания Комиссии по правам человека считал ее работу неважной. Возможно, Госдепартамент был

настолько озабочен "практическими и насущными" проблемами холодной войны, что просто забыл о Декларации на два года, как забыл и о том, что Соединенные Штаты возглавили работу по обеспечению принятия Генеральной Ассамблеей резолюции, воплощающей Декларацию. Возможно, это были мелкие и эгоистичные политические соображения. Возможно, во всем этом было чистое лицемерие. Я не могу назвать причину. Могу лишь заявить, что, когда в 1950 году, после, казалось бы, неоправданно долгой задержки, встал вопрос о ратификации резолюции Соединенными Штатами, Государственный департамент выразил несогласие.

Сначала он выразил несогласие по поводу включения статей 22-27 Декларации. Но поскольку большинство этих статей воплощают принципы, которые уже прописаны в законодательстве Соединенных Штатов или подкреплены вековыми обычаями, возражения Госдепартамента против них казались необъяснимыми. Как отмечал в то время член Национальной комиссии США по делам ЮНЕСКО Рейфорд Логан, нет ничего революционного для американских принципов ни в утверждении, что "Каждый человек... имеет право на социальное обеспечение", ни в утверждении, что "Каждый человек имеет право на образование", ни в утверждении, что "Каждый человек имеет право на такой уровень жизни, который необходим для поддержания здоровья". Нет. Возражение, по-видимому, относится к статье 23:

"(1) Каждый человек имеет право на труд, на *свободный* выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. (2) Каждый человек *без какой бы то ни было дискриминации* имеет право на равную оплату за равный труд....". (Курсив мой.)

После ратификации Декларации эти пункты потребовали бы принятия закона, ничем не отличающегося по замыслу от предложенного F.E.P.C. Но не об этом говорил мистер Эдвард У. Барретт из Государственного департамента, излагая возражения против принятия всей Декларации. "В то время как, - писал он, - существует максимальная степень согласия (за пределами "железного занавеса") в отношении политических и гражданских прав, нет общего согласия в отношении экономических и социальных прав. Законы и практика членов Организации Объединенных Наций сильно различаются по этим правам, изложенным в Декларации".

Полагаю, не имеет особого значения, что это равносильно заявлению о том, что Организация Объединенных Наций не согласовала то, что она, очевидно, согласовала; а также то, что нельзя провести четкого и резкого различия (как это следует из письма г-на Барретта) между политическими и гражданскими правами, с одной стороны, и экономическими и социальными правами - с другой.

Не имеет особого значения и тот факт, что Государственный департамент еще более грубо выразил "реалистическую" точку зрения, согласно которой, если перефразировать, демократия основана на компромиссах, когда большие цели уступают малым. Статья 16 Всеобщей декларации прав человека гласит:

"(1) Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, *без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии*, имеют право вступать в брак и создавать семью....". (Курсив мой.)

Может быть, это положение было в голове у мистера Барретта, когда он писал: "Ни исполнительная власть, ни Конгресс не хотели бы, чтобы наше правительство ратифицировало конвенцию, содержащую обязательства, которые наше правительство и наш народ не хотят или не могут выполнить"?

В сознании и духе американцев существует глубокая болезнь, которая грозит заразить саму демократию и сделать ее бессильной как идеал. Но не только это; болезнь также угрожает сделать демократию неэффективной как инструмент, с помощью которого человек может реализовать свое высшее "я" и в сотрудничестве с другими "я" придать изюминку, богатство и смысл человеческим усилиям. Ведь демократия - это две вещи. Это политический инструмент и идеал. Как идеал, перед ней растворяется представление о мире как об огромной арене, где играют бесцельные и необъяснимые силы и где неизбежная судьба делает беспомощными разум и дух индивида. Как идеал, он находится в жестком противоречии со стерильным детерминизмом и фатализмом. Он предполагает, что единственным источником человеческого счастья или несчастья являются сами люди, и сама его догма провозглашает, что совместные усилия - путь к человеческому счастью. И это разумно, ведь мы знаем - и знаем это научно, - что сотрудничество - это закон жизни. Когда люди сотрудничают, они и их предприятия процветают, царит мир. Это не гуманистическая чепуха. Уполномоченный высказать взвешенное мнение группы известных ученых Комитета экспертов по расовым проблемам ЮНЕСКО, Эшли Монтагу заявил: *"Врожденное стремление человека к сотрудничеству нужно только культивировать и разумно использовать, чтобы этот мир превратился в рай на земле, когда все люди наконец-то будут жить по правилу, которое заложено в их природе, - по Золотому правилу любви к ближнему, как к самому себе"*. (Курсив мой.)

16

Хотя я не очень религиозный человек, я не понимаю, как можно оставить Бога без внимания в этих вопросах. Бог играет очень заметную роль в расовых отношениях в Америке. В то или иное время, а часто и одновременно, Он выступал на стороне обеих сторон. Он проклинал и благословлял то одну, то другую сторону с поистине богоподобной беспристрастностью. Его конечные намерения, открытые вдохновенным мудрецам, хранятся в тысяче томов. Любого, кто читает литературу о расе, не может не поразить та неумеренная частота, с которой упоминается Бог, и то тщательное рассмотрение, которое уделяется, даже социологами, расовым отношениям как проблеме христианской этики.

Бог, конечно, является неявным допущением в мышлении нашего века. Он - одно из тех убеждений, которые настолько спонтанны и неизбежны и настолько само собой разумеются, что действуют в нашем обществе с большой эффективностью (хотя, как правило, на уровне подсознания). Он - это вера, которая действует, просто существуя, как валун, встретившийся на пути, с которым нужно разобраться, прежде чем продолжить путь. Бог - это комплекс, состоящий из простых элементов - посредника, отца, судьи, присяжного, палача, а также любви, добродетели, милосердия - каждый из которых порождает весьма пеструю коллекцию зачастую противоречивых идей. Бог - это катализатор, а также сформулированная доктрина, инертно символизируемая в ритуалах и догмах церквей, называемых христианскими. Бог - это абсолютная реальность, но это не мешает ему демонстративно предлагаться в качестве оправдания неспособности нашего общества разобраться с большими, но относительными реальностями. С Богом и христианской религией нужно считаться.

Не знаю, как долго я сомневался в существовании и Бога, и христианской религии, но, наверное, с подросткового возраста. Я также не знаю, как именно это произошло. Мой отец был (и остается) очень религиозным, с большой, ясной и непоколебимой верой. Моя мать была менее религиозной, но семья регулярно ходила в церковь, где мы все были активны, и я иногда видел, как мою мать так глубоко трогало религиозное чувство, что она не могла сдержать слез. Что побудило ее к этому в той прохладной атмосфере, сказать невозможно. Я могу лишь предположить, что оно возникло в результате какого-то очень личного общения с Богом, установленного, возможно, случайной мыслью, словом или определенным светом через желтые, розовые и фиолетовые окна. Среди нас и в нашей церкви никогда не было криков и "веселья"; не было того экстатического восторга, который заставлял мужчин и женщин прыгать, танцевать и кричать в проходах. После миграции на север, последовавшей за Первой мировой войной, несколько человек, у которых, возможно, была природная склонность к таким переносам, нашли дорогу в нашу церковь, но их разочаровала механическая экспертность не вдохновенных проповедей, формализованных молитв и предпочтение хормейстера к гимнам, переведенным с латыни пятнадцатого века. В нашей церкви я никогда не слышал духовных песнопений и лишь изредка - кальвинистских гимнов.

В подростковом возрасте я понял, что для большинства негров Бог - это нечто большее, чем дух, которому поклоняются по воскресеньям. Он обладал пугающей непосредственностью как материальный кормилец и защитник. Однажды группа подростков отправилась воскресным вечером (наша церковь поклонялась только утром) в миссионерскую церковь в глубине района Бридж, где было сосредоточено негритянское население. Мы пошли, чтобы посмеяться, как некоторые из нас слышали от своих родителей, над малапропизмами неграмотного служителя и его невежественной паствы, над безумным пением и криками, а также над развязным поведением членов церкви в религиозном экстазе. Мы не остались молиться, но я был поражен тем, что увидел и услышал, и впоследствии мое природное любопытство побудило меня иногда ходить туда в одиночку. Служба не была похожа ни по ритуалу, ни по содержанию (и то, и другое возникло спонтанно) на ту, к которой я привык. Любой член церкви мог встать и помолиться. Целый вечер мог быть отдан этим импульсивным вспышкам. Молитвы поразили меня своей конкретностью, заботой о повседневности. Я слышал, как одна расстроенная мать, чья дочь, очевидно, сидела рядом с ней, умоляла Бога: "Вот Идабель, она пошла и стала большой, и я прошу тебя, Господи, сделай так, чтобы молодой негодяй, который это сделал, женился на ней. Его зовут Херби Вашингтон, и он живет на соседней со мной улице". Они молились о хлебе, но не в общем, символическом смысле: "Хлеб наш насущный дай нам на сей день", а о конкретном хлебе и мясе для конкретных случаев. "Тетя Кэлли Блэк лежит там больная, Господи, и когда я видел ее, она сказала мне, что ее рот жаждет горячего печенья, и поэтому я прошу Тебя дать ей горячее печенье, прежде чем я снова приду к ней в следующий вторник". Им нужна была одежда, и они просили о ней. Им нужны были жалкие, но конкретные суммы денег. Они хотели защиты от своих настоящих врагов. "Господи Иисусе, не дай этому подлому ниггеру Джо Фишеру воткнуть в меня нож".

Негры предъявляли Богу иррациональные требования, которые, как они ожидали, Он должен был выполнить без всякой помощи с их стороны и без всякого учета условий, при которых они могли бы быть выполнены, и я полагаю, что, когда их требования терпели неудачу, существовал некий психологический механизм, который приводил удовлетворительные оправдания. Все это было очень просто и прямолинейно, но Бог просто не работал таким образом - не тот Бог белых людей, которому меня учили поклоняться.

Не думаю, что это несоответствие заставило меня задуматься, пока в маленькой и довольно эксклюзивной (хотя и государственной) средней школе, которую я посещал, учитель естествознания не указал мне на это. Он был горьким, разочарованным человеком, полным ненависти к себе и презрения к своей расе. Говорят, он часто шатался пьяным за пределами класса и проводил свои выходные в алкогольном тумане ненависти, сочиняя гнусные антинегритянские письма в колонку "Народное мнение" местной газеты. (Такие письма действительно появлялись там с упорной регулярностью). Наш учитель естествознания, конечно, не был для нас полезен. Утро понедельника неизменно проходило без уроков естествознания.

"Сколько из вас вчера обратились к Богу с шапкой в руках и попросили, чтобы он помог вам с химией на этой неделе?" - начинал он. "Он этого не сделает, и можете поверить мне на слово. Беда ниггеров, - с каким злобным презрением он произнес это слово, - в том, что они ждут, что Бог сделает за них. Вот почему они такие, какие есть, - не только невежественные, но и глупые; не только неполноценные, но и униженные. "Вы можете взять весь этот мир, но дайте мне Иисуса", - говорится в песне, и именно это делали белые люди - брали мир и давали вам Иисуса. Бог, если он есть, в чем я сомневаюсь, помогает тем, кто помогает себе сам. А теперь изучайте свою химию!"

(Как он умудрялся оставаться на своем месте, пьянствуя и развращаясь, о чем все знали, - это не столько уму непостижимо, сколько не верится. Он был одним из "больших" мулатских семей высшего класса, члены которых процветали в профессиях по всему Восточному побережью. Они не были могущественной семьей, у них не было ни денег, ни политического влияния, ни влиятельных белых покровителей; но они обладали социальным престижем благодаря своей древности, относительно долгой традиции свободы, образованию и значительному вливанию белой крови. В те времена считалось, что такая семья не должна быть опозорена проступками одного из ее членов. Черную овцу нужно защищать, если ее нельзя спрятать, и жалеть, потому что ее нельзя наказать).

Подобные утверждения были почти повседневной пищей. Найти им поддержку было несложно. Я видел, что большинство негров бедны, невежественны и неполноценны. Каждый год в последнее воскресенье августа одна из негритянских религиозных конфессий проводила "квартальное собрание" в моем родном городе. Люди из полудюжины штатов съезжались сюда накануне и всю ночь бродили по улицам или спали где попало - на лужайке у здания суда, в повозках и грузовиках, которые их привозили, в переулках и подъездах. Но в воскресенье какое волнение! Какое шумное оживление! Шесть городских кварталов, чуть ниже главной улицы, были затоплены зародышевым потоком их жизни. Проповедники увещевали, торговцы едой кричали, хоры пели, оркестры играли, потерянные дети плакали, городские проститутки нагло пробивались к деревенским молодым людям, люди молились и уходили в транспорте.

Не знаю, когда я начал замечать белых людей. Наверное, они были здесь всегда. Но где-то на четырнадцатом или пятнадцатом году жизни я вдруг увидел их. Небольшие фаланги их постоянно протискивались или властно требовали прохода сквозь толпы, которые рассыпались перед ними, как зерно перед косой. Белые люди чихали - или мне так казалось, - фотографировали их и отпускали насмешливые комментарии. Они со смехом и презрением смотрели вниз из окон, с балконов и крыш зданий, выстроившихся вдоль улицы. Они приехали из разных уголков города, чтобы посмотреть на шоу, а не стать его частью. Я с глубоким стыдом осознал, что то, что негры делали в этот святой день, превращало белых в цирк клоунов. Бог негров выставял их дураками. Поклонение и религиозность были предметом насмешек и презрения, ибо они ставили на негра клеймо неполноценности.

Должно быть, между предпосылкой и выводом было много неясных ходов мысли и много градаций эмоций. Как бы мало я ни осознавал их, мои нервы, мышцы и мозг, обузданные тысячей случайных и забытых впечатлений, должны были подготовить меня к тому, чтобы принять вывод без возмущения и потрясения. Я просто отверг религию. Я отверг Бога. Не инстинкты, а самые глубокие чувства вызвали во мне навязчивый протест - не потому, что я был я, некое нейтральное человеческое существо, непосредственно реагирующее на опыт, а потому, что я был негром. Трудно выразить это ясно; но было два человека, разделявших мое физическое существование и раздиравших меня на части. Один, я полагаю, был реальным "я", которое я хотел защитить и которое, однако, казалось, ненавидел всепоглощающей ненавистью; а другой - идеальным "я", которое навязчиво пыталось сформировать реальное "я" вдали от всего того, чем казались негры. Какой эмоциональной и психической ценой дался мне этот глубокий эмоциональный конфликт, я не знаю. Прошли годы, прежде чем я понял, что то, чего я тогда хотел, - это быть белым.

Прошли годы, прежде чем я заключил своего рода вооруженное перемирие с религией и Богом. Я обходил Бога решительно, осторожно, злорадствуя, что я свободен от него и что он не может меня тронуть. Действительно, мне приходилось обходить Его стороной, потому что Он всегда был рядом. Он был там, четвероногий и твердый, в самом центре жизни моего отца. (Мой отец обычно заканчивал свои письма словами: "Да пребудет с тобой дух Всемогущего Бога, чей интерес всегда проявляется!"). В Брауновском университете Он был в проповедях доктора Уошберна, в беседах президента Фаунса в часовне, в курсе философии профессора Дюкасса. Он был в разных людях, которых я встречал и к которым испытывал привязанность. Он был в невыразимой, трепетной сладости первой любви, которую я испытал; в утопающем экстазе первого сексуального опыта; в радости воображаемого творчества. Но я двигалась вокруг Него настороженно, смеясь, высмеивая Его притязания, решив, что Он не предаст меня негритянству. Если в глубине моего реального "я" еще оставалось какое-то сознание религиозного духа, то идеальное "я" - ненавидящее негров - делало все возможное, чтобы изгнать его.

О том, насколько непримиримым и длительным был этот конфликт, свидетельствует тот факт, что только в последние десять лет я могу ходить в церковь без ощущения, что участвую в каком-то бессмысленном некромантическом ритуале, и без чувства, что мое желание пойти туда - а я много раз *хотел* пойти туда; Если это кажется противоречивым, то я ничего не могу с этим поделать - это был знак неполноценности, глупое выражение слабого и бессмысленного желания достичь невозможной сферы бытия, отличающейся по своей сущности - то есть по своей реальности - от всего, что, как мне подсказывает опыт, может быть достигнуто. Я не верю в загробную жизнь, в потусторонний мир. Опыт этого мира слишком силен и слишком сильно влияет на меня. Я не понимаю, как негр может верить в другой мир, а религия, которая внушила ему эту веру, если и спасла его, то лишь тем, что заставила его смириться с той самой деградацией человечества, которая так отвратительна для принципов христианства.

Но не только по вышеизложенным причинам я считаю религию подозрительной. Давайте признаем, что Бог негров был в основном языческим богом и в значительной степени лишен самых божественных атрибутов, заступаясь за человека непосредственно и без его помощи. Они создали бога, соответствующего их потребностям. Но белые тоже создали себе бога, который им нужен, и верили в него, и исповедовали следование ему. Он - моральный Бог, Бог правды, справедливости и любви. Я не хочу заходить слишком далеко, поскольку не обладаю способностью к философским рассуждениям; но мне кажется, что если качества, приписываемые Богу, представляют собой признанные потребности человека, а принципы

христианства - универсальный источник его социального гения, то он пожертвовал удовлетворением своих основных потребностей (или "хорошей жизнью") ради исполнения желаний, противоречащих цели жизни. Он не дал своей религии шанса помочь ему осуществить ту масштабную социальную трансформацию и эволюцию, которая должна быть целью религии. Религия превратилась в некую разрозненную деятельность, тогда как для того, чтобы быть эффективной, она должна быть социальной функцией, тесно связанной с судьбой человека на земле.

В то время как в расовых отношениях почти нет религии, там много Бога. Я говорю это не в шутку и не с ироническим умыслом; во всяком случае, раньше это хотя бы подразумевалось. Существует обширная литература, посвященная роли Бога в расовых отношениях, начиная с пятнадцатого века. В основном Бог и слово Божье использовались для увековечивания нечестивой идеи человеческой неполноценности. Мне нет нужды углубляться в эту тему, кроме как указать на тонкие модификации современным человеком идеи Бога и интеллектуальную гимнастику, которая сделала эти модификации возможными, даже когда, как мне кажется, окружающая среда не делала их необходимыми, и даже несмотря на то, что в фундаментальной концепции Божества заложена идея неизменности. Но Бог изменился, и хотя человек сам произвел эти изменения, он объявил их собственными изменениями Бога, а значит, факторами, уравнениями, составляющими единое целое с таинственной и непознаваемой природой Бога. Действительно, сама сверхъестественность Бога, Его таинственность и непостижимость ("Бог движется таинственными путями, совершая Свои чудеса", следовательно, "мы не можем знать Божьей цели в том, чтобы сделать черную расу ниже белой", и мы не можем "понять отвращение, которое Бог дал одной расе к другой или одному народу к другому") - это во многом современные атрибуции, которые смущают древнее знание и оправдывают современный грех. Бог не всегда был таким.

И прежде чем древние представления рухнули под натиском изощренности, научного материализма и новых философий, которые он породил, христианство стало образом жизни. Оно стало образом жизни, к которому нужно было стремиться, потому что, казалось, оно удовлетворяло потребности обычных людей. В христианстве нет ничего таинственного. Конечно, тайна заключена в жизни Христа (как, надо сказать, она изначально не заключалась в Боге), но жизнь Христа и то, что он, как сообщается, сделал, - это одно, а то, чему он, как сообщается, учил, - другое. То, чему он учил, так же ясно, конкретно и буквально, как главная статья в хорошей газете. Он учил, что Царство Небесное находится здесь, на земле. Он проповедовал, что люди должны любить друг друга. Он говорил, что все люди - братья. Он стремился связать людей в единый могучий союз. При всей таинственности, окружавшей его, он был социальным инженером с дальним и космическим видением. Нынешний век не отрицает, что он был прав. Хотя есть те (и я в их числе), кто отвергает традиционно увековеченные события его жизни как фактическую запись, его служение остается источником христианской религии. Произошло то, что век, признавая христианство как высший образ жизни, который человек до сих пор придумал, отрицает власть Бога заставить человека жить в соответствии с учением Христа. Мечта о Боге и реальность Христа оказались разделены.

Если все это кажется слишком упрощенным, то я снова должен сослаться на отсутствие у меня ресурсов для подобных рассуждений. Я не хочу придавать видимость простоты проблемам, которые доставляли хлопоты лучшим религиозным философам последних шестисот лет. Если отбросить теологию, то мне кажется, что влияние, которое христианская религия должна оказывать на человеческие отношения во всем мире и на расовые отношения в западном мире, достаточно простое и прямое. Возможно, сейчас звучит

несколько аскетично говорить, как говорил Уильям Джеймс на рубеже веков, что жизнь становится утомительной и бессмысленной, если ее постоянно не освежать "общением с более широким "я", через которое приходит спасительный опыт", но мне кажется, что это правда. Христианская религия предлагает это общение с "более широким Я". Она предлагает зрелый подход к опыту. Невероятная удача современного человека избежать тяжелейших последствий поведения, не освещенного светлыми убеждениями и не контролируемого моральными принципами, быстро заканчивается. Третья мировая война может уничтожить человека целиком - если, конечно, он не уничтожит себя более тонкими и мучительными способами без войны. Было бы глупым оптимизмом не допустить такой возможности.

Я хотел бы подчеркнуть не благородство жизни Христа, а практичность его предписаний. Это скорее вопрос разумности, чем "хорошести". Я бы увидел в этом борьбу между разумом и суеверием, прогрессом и предрассудками, порядком и хаосом, выживанием и разрушением.

17

Теперь, когда я подхожу к концу этого эссе, я понимаю, что не сделал для себя всего того, что надеялся сделать. Я не очистился: Я не излечился от своей болезни. Возможно, она не из тех, которые можно вылечить индивидуальными домашними средствами. Я думал, что в процессе написания этого эссе смогу излить себя, подобно Иову или Иеремии, или через своего рода свободный отзыв достичь освобождения и внутреннего покоя, которые казались мне столь желанными. Но даже в процессе написания я обнаружил, что сам факт принадлежности к неграм ограничивает свободу излить себя. Я обнаружил глубины самосознания и грани опыта, которые я просто не мог обнажить и которые вызывали у меня чувство стыда за то, что я признавал их своими. Не написать об этом, конечно, было трусостью, но ни один человек не может рассказать о себе всю правду, а обвинение в трусости легче принять, чем традиционные, вредные обвинения в "негритянской" бесчувственности, эмоциональности, заброшенности и жалости к себе. Более того, то, что я хотел сказать о себе, если бы это показало меня плохим и беспринципным, было бы воспринято как типичное для всей негритянской расы, и я очень хорошо осознавал это, когда писал. Я сомневаюсь, что расовое сознание действует подобным образом в творчестве белых писателей.

Мне хочется думать, что я сделал четкий выбор между тем, чтобы сказать всю правду и тем самым спасти себя (что было моим изначальным намерением), и тем, чтобы не сказать всей правды и тем самым защитить негритянскую расу от предвзятых мнений, которые породила бы вся правда. Но я знаю, что это чистая рационализация. То, что я сделал в этом отношении, не было результатом добровольного решения; это, скорее, свидетельство того, что меня неустанно деформирует невротическая паутина принуждения, потребность чувствовать себя ответственным, потребность иметь, даже неискренне и даже ограниченно, чувство принадлежности и интеграции.

Я никогда не хотел быть свободным от этой потребности. Я никогда не хотел быть изолированным или отчужденным, поскольку я убежден, что приверженность чему-то вне себя необходима для развития человека и гуманизма. Когда-то давно я выразил это по-

другому: "Мне не нужно было убежище, - писал я, - мягкое гнездышко, защищенное от жестких, крепчающих ветров, которые то жарко, то холодно дуют в кипящей, бурной долине мира. Я хотел встретить ветер лицом к лицу. Я хотел, чтобы силы для противостояния исходили из какого-то невыразимо глубокого колодца ощущения единства с ветром, принадлежности к чему-то, какой-то душевной силе вне меня, большей, чем я сам, но все же являющейся частью меня. Не просто семья, или институт, или раса; но народ и все его безграничные стремления; нация и миллионы ее судеб"⁽¹⁴⁾.

Я хотел (и до сих пор хочу - ибо написание этого эссе этого не сделало) освободиться и стряхнуть с себя сковывающие путы расы и расового опыта, чтобы интеграция - моя личная интеграция и приверженность - стала чем-то большим, чем раса, и более прочным, и более истинным. Ведь раса - это миф, она искусственна, и, я надеюсь, наконец-то умирает. Пока же, пока она жива, она является барьером и ужасным, ужасным бременем. Она является барьером почти для всех, белых и черных, в Америке. Это бремя тоже для всех, но для негра это личное бремя - бремя стыда и возмущения, наложенное на него в самый ранний момент сознания и не снимаемое до самой смерти, и все его силы, умственные, эмоциональные, духовные, должны быть в резерве для его несения.

Хотя я не мог этого сказать, я видел всю правду, и, думаю, возможно, это видение помогло мне избавиться от иллюзии (в лучшем случае временной), что есть нечто облагораживающее в возможности отойти в сторону от борьбы, которую навязывает раса, и что я обрету при этом внутреннюю безопасность. Это была красивая и привлекательная иллюзия. Если бы только я не был негром! Это, конечно, была несбыточная мечта-желание, на которой основывалась иллюзия. Но теперь я знаю, что в Америке нет нейтралитета в том, чтобы быть белым, и мне хотя бы приятно осознавать, что некоторые белые люди тоже страдают от ограничений и разочарований, связанных с "белизмой". Это дошло до меня с большей силой, чем когда-либо с тех пор, как я начал писать это эссе. Именно в этом заключался смысл газетной заметки, датированной "Брундидж, штат Алабама, 21 июня (1951)": "Разъяренная, вооруженная группа белых фермеров застрелила сегодня негра, работавшего в поле, по ложному слуху, что он похитил белую женщину. Форрест Джонс... был ранен... выстрелом из дробовика, когда он возвращался домой после того, как отвез белого ребенка, пострадавшего в автомобильной аварии, к врачу".

Бремя на совести и на душе! Именно об этом говорится в книгах как апологетов Юга, так и либералов. Об этом говорят и Лилиан Смит, и Ходдинг Картер, и Говард Одум. Я даже могу поверить, что Джон Рэнкин и Ричард Рассел, Джеймс Бирнс и Стром Турмонд обозначали это в своих поступках и словах, и что Теодор Бильбо тоже это обозначал. Белизна не смягчает неумолимого искажения расовой ситуации в Америке. Белые люди - это тоже полулюди, больные люди, и, возможно, некоторых из них нужно жалеть еще больше, потому что они не знают, что больны. Некоторым из них - хорошим, удачливым, таким как Лилиан Смит, - удалось в некоторой степени объективизировать это; но ни для них, ни для меня нет нейтральной почвы, на которой можно было бы стоять. Ни они, ни я не можем уйти из человеческой расы. Лучшее, на что я могу надеяться, - это экстернализировать эту борьбу и включить ее в неограниченный контекст всеобщей борьбы за человеческое достоинство, целостность и единство.

Должен признаться, что, если только я не подразумевал их все это время (и то бессознательно), у меня нет конкретных средств от нашей американской болезни. Я не могу сказать, что образование, в формальном смысле этого слова, излечит нас. Образование потерпело неудачу и стало утомительным в своих неудачах. А может быть, дело только в том, что предрассудки и суеверия противостоят любой серьезной попытке применить

образование в качестве лекарства. Даже если наш разум, основательно опирающийся на научные знания, которыми так гордится наш век, поддерживает этику всеобщего братства и заявляет, что "человек - существо социальное, которое может достичь своего полного развития только через взаимодействие со своими товарищами", предрассудки и суеверия, как подтверждает случай, оказываются сильнее. Предрассудки, отмечает Лилиан Смит, утверждают, что существуют "святые и профаны" в соответствии с такими инфантильными критериями, как цвет кожи, и такими примитивными, как "кровь", и что между ними не должно быть никакого взаимодействия. Суеверие отделяет исполнение судьбы человека от его характера, тем самым провозглашая, что судьба общества непознаваема и полностью не зависит от человека.

Я не могу поверить в то, что законы и правительство являются специфическими. Они связаны и должны быть связаны с отношениями человека и группы, но они связаны лишь на поверхностном уровне. Законы и правительство, если ими управляют не те люди - даже меньшинство не тех людей, - как это часто бывает в демократии, могут быть извращены. Законы и правительство дисциплинируют, как говорил, кажется, Талейран, отрицаниями. Они говорят о том, что нельзя делать, но не обязательно поощряют то, что следует делать. Они бездушны. Без них, конечно, у нас была бы анархия; но опыт не побуждает верить, что с большим количеством законов и правительства у нас будет мир. Более того, их можно оспаривать, и те, кто их оспаривает, часто добиваются славы и звания мужественных патриотов.

Я бы сказал, что христианство обещает излечение от нашей американской болезни. Но оно должно стать настоящим образом жизни, в котором достоинство и братство человека - первый принцип. Возможно, оно должно быть отделено от мистики и потусторонних сил - от теологии. Я бы сделал акцент на отношении человека к человеку, а не на отношении человека к Богу. Я бы заменил авторитет прозрения Христа авторитетом всех церковных догм. Я бы провозгласил по всей земле: "Любите друг друга".

КОНЕЦ

-
1. Вирджиниус Дабни, "Все ближе и ближе к пропасти", The Atlantic Monthly (январь 1943 г.).
 2. Из "Манифеста Атланты", опубликованного белыми жителями Юга в 1944 году. Курсив мой.
 3. Из книги "Наследие Юга".
 4. Суды отказали Холкатту, негру из Северной Каролины, в праве на поступление в университет штата. Суды удовлетворили иск Свитта о том же праве в Техасе.
 5. Маркус Гарви был вест-индским негром, который в 1920-х годах вызвал большой интерес и организовал большое количество сторонников вокруг лозунга "Назад в Африку".
 6. См. его речь в Конгрессе 24 августа 1919 года.
 7. Джей Лавстоун, "Шестой Всемирный конгресс Коммунистического Интернационала", Коммунист, VII, № 11; ноябрь 1928 г., стр. 673-674.
 8. Уильям Ф. Данн, "Негры в американской промышленности", Workers Monthly, IV, No. 6; апрель 1925 г.

9. Похоже, что и в колледжах белых тоже нет. Исследование Гордона Олпорта "Возможно ли межгрупповое образование?" (Harvard Educational Review, Vol. 15, No. 2), показывает, что выпускники белых колледжей, хотя и более демократичны, чем белые выпускники средних школ, но не настолько, чтобы обеспечить выживание демократии.

10. Цитаты взяты из депеши Ассошиэйтед Пресс в газете "Нью-Йорк Таймс" от 24 января 1951 года, напечатанной в газете 25 января 1951 года.

11. Цитируется по книге Джона Х. Ван Эври "Превосходство белых и подчинение негров; или негры - подчиненная раса" (1867).

12. W. E. B. DuBois, *Dusk of Dawn* (New York: Harcourt, Brace and Company, 1940), pp. 27-28. Перепечатано с разрешения издательства.

13. John W. Burgess, *Reconstruction and the Constitution* (New York: Charles Scribner's Sons, 1903), p. 133. Перепечатано с разрешения издателей.

14. J. Saunders Redding, *No Day of Triumph* (New York: Harper & Brothers, 1942), p. 43. Перепечатано с разрешения издателя.

ПРИМЕЧАНИЯ ТРАНСКРИПТОРА

1. Исправлены опечатки и орфографические ошибки.
2. Архаичные, нестандартные и неопределенные написания сохранены в печатном виде.